



Эммануэль Литвинов

# ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ

Эммануэль Литвинов

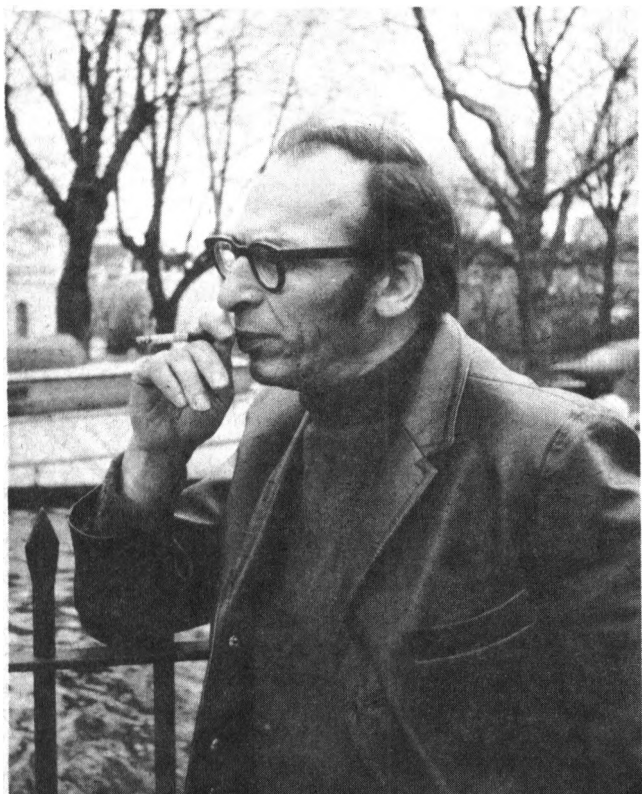
ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  
МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ

61



**Эммануэль Литвинов**

**ПУТЕШЕСТВИЕ ПО  
МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ**



*ЭММАНУЭЛЬ ЛИТВИНОВ*

**Эммануэль Литвинов**

# **ПУТЕШЕСТВИЕ ПО МАЛОЙ ПЛАНЕТЕ**

עיריית חיפה  
מערכת תרבות הפגאי  
מרכז תרבות לעולים  
בית ארדשטיין - ספריח  
מס: פלאי.....



**БИБЛИОТЕКА-АЛИЯ**

1978

א. ליטבינוף

מסע על פני כוכב לכת קטן

Journey through a Small Planet  
a novel by Emanuel Litvinoff

Перевел с английского Георгий Бен  
Редактор Яков Цигельман  
Художник Лев Ларский

**עיריית חיפה/מנהל ח.ת.ר.**

אגף לתרבות השכלה ואמנות, המח' לספריות

**הספרייה העירונית ע"ש ש. פזנר**

מס' 70053/1

©

ALL RIGHTS RESERVED

כל הזכויות שמורות

לספריית-עליה

ת.ד. 7422, ירושלים

היוצאת לאור בסיוע:

האגודה לחקר תפוצות ישראל, ירושלים

וקרן זכרון למען תרבות יהודית, ניו-יורק

OCR Давид Титиевский, июнь 2021 г., Хайфа

## ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Эммануэль Литвинов родился в Лондоне, в Ист-Энде. Он был одним из девяти детей в еврейской семье, его мать была родом с Украины.

Еврейское самосознание будущего писателя обострилось в период укрепления фашизма и привело к ранней политической активности, к участию в уличных схватках с английскими антисемитами. Тогда же он начал писать стихи, глубоко проникнутые национальным чувством.

Во время Второй мировой войны он вступил в Британскую армию, в которой прослужил пять с половиной лет, дослужившись до звания майора.

После демобилизации Эммануэль Литвинов полностью посвящает себя литературе. Он издает два сборника стихотворений и несколько романов, в том числе — трилогию о русской революции «Облик террора», пишет пьесы для радио и телевидения и сотрудничает в еженедельнике "Jewish Observer and Middle East Review".

Во время посещения Советского Союза в 1956 году Литвинов открыл для себя проблему советского еврейства, погружен в нее и пишет на эту тему бесчисленное множество статей. В 1958 году он основал журнал "Jews in Eastern Europe", который издавался до 1974 года; затем редактирует ежемесячный информационно-аналитический бюллетень "Insight: Soviet Jews". Он также редактор книги «Советский антисемитизм: Парижский процесс».

Роман «Путешествие по малой планете» рассказывает о жизни евреев лондонского Ист-Энда в двадцатые годы. Главный герой книги — ребенок, и его глазами мы смотрим на мир. Не без юмора автор рассказывает о нелегкой жизни неунывающих нищих (большой частью иммигрантов из России).

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Предисловие автора .....          | 7   |
| Предки .....                      | 10  |
| Под материнским присмотром .....  | 26  |
| «Называйте меня дядя Солли» ..... | 41  |
| Урок географии .....              | 52  |
| Борьба за Менделя Шаффера .....   | 60  |
| Дядя Солли прожигает жизнь .....  | 75  |
| Фаня .....                        | 89  |
| Вражеская территория .....        | 107 |
| Бог, которого я предал .....      | 131 |
| Вид с седьмого этажа .....        | 144 |
| Благотворительные ботинки .....   | 155 |
| Школа жизни .....                 | 181 |
| Еврей в Англии .....              | 194 |

## **Предисловие автора**

До шестнадцати лет я жил в одном из районов восточного Лондона, называемом Бетнал-Грин, на улочке, от которой сейчас осталось лишь название на плане города. Почти все дома на ней снесены и существуют разве что на страницах этой книги. Эта часть района была заселена евреями, бежавшими из Российской империи и превратившими его в шумное восточноевропейское гетто, где было полно синагог, кустарных мастерских и крохотных бакалейных лавчонок, из которых на всю округу разносился запах маринованной селедки, чесночной колбасы и свежеспеченного хлеба, приправленного луком. Кипучая энергия людей, скученно живших в трущобах на площади всего в какую-нибудь квадратную милю, создавала накаленную атмосферу, чреватую взрывом. Все мы тут были мечтателями, и каждый верил, что ему суждено разбогатеть, или прославиться, или изменить мир, дабы превратить его в райский край свободы и справедливости. Не удивительно, что столь многие из нас терзались горечью, печалью и отчаянием.

Когда мне было что-то около двадцати лет, я впервые попытался воссоздать что-нибудь из всего этого и лихорадочно быстро написал роман, уместившийся в дюжине школьных тетрадей. Не зная, что делать дальше, я послал этот роман директору школы, которую я окончил. Он вернул мне его с суровым письмом, в котором осудил мое нездоровое пристрастие к сексуальным эпизодам и к описанию нищеты и грязи. Когда я прошел войну, шесть лет отбарабанил в армии и вернулся домой, я отнес свою старую рукопись на задний двор и сжег ее, страницу за страницей. Мир, который я пытался описать, погиб под

бомбежками. А мы, выжившие, все еще были молоды, радостно двигались в будущее и не имели никакого желания оглядываться назад, на исчезнувшее прошлое. Потом я сделал еще две попытки создать роман об Ист-Энде, но в конце концов махнул на все это рукой, написав лишь небольшой рассказ под многозначительным названием «День, когда погиб мир».

Много лет спустя приехавший в Англию шведский писатель Альвар Альстердаль попросил меня показать ему еврейский район Ист-Энда. Мы выбрали хороший солнечный день и, не ощущая ничего, кроме легкого любопытства, вышли из моего дома в Хартфордшире, сели в машину и двинулись в путь. Ист-Энд выглядел невзрачно и ветхо — так с первого взгляда выглядит любой бедный район Лондона. Но по мере того, как мы шли и шли пешком по когда-то столь знакомым мне улицам, я ощутил, что здесь произошла поразительная перемена. На перекрестках бесцельно торчали кучки мужчин-мусульман, и бросалось в глаза странное отсутствие женщин. В полуденном зное ныла пронзительная монотонная музыка. К зловонию отбросов примешивался запах пряностей. Тощие девочки с огромными грустными черными глазами сидели у подъездов и нянчили детей. В кинотеатре шел индийский фильм, и фасад был украшен грубо намалеванными рекламными картинками, изображавшими женщин в сари и каких-то раджей с перстнями. Упрямо сохранявшиеся признаки прошлого все еще существовали в виде одной или двух еврейских пекарен и убогих лавчонок, в которых продавались сигареты, лимонад и давно позабытые вареные сладости; но на прилавках лежали уже не добрые старые газеты на идиш, а совсем другие — на урду. И на такой знакомой Монтегю-стрит — в самом сердце бывшего еврейского квартала — теперь не было синагоги: от нее ничего не осталось, кроме сломанной деревянной двери, на которой был вырезан Лев Иудей.

Многоквартирный дом, в котором я когда-то жил, каким-то чудом уцелел — правда, он изрядно обветшал, но все-таки сохранился: я увидел те же сломанные плитки в парадной и те же шаткие лестницы, которые так же пахли кошками. Я подвел своего шведского друга к окошку на лестничной площадке второго этажа и показал ему оттуда маленький задний двор, уставленный мусорными баками. Двор тоже не изменился. Неожиданно я очень живо вспомнил свое детство. Мне было двенадцать лет: снова — в который раз — пришло известие, что мне не удалось набрать достаточно очков, чтобы получить стипендию и поступить в школу второй ступени. На улице, помню, шел дождь. Я тогда сел на деревянный подоконник и вырезал на нем свои инициалы. Да, вот они они все еще были здесь, неровные и нечеткие буквы: — «Э.Л.».

Дверь квартиры, где я когда-то жил, открылась, и на секунду мне показалось, что сейчас оттуда выйдет бедный, несчастный еврейский мальчик. Но из двери вышел пожилой человек в обтрепанном костюме с мусорным ведром в руке. Он недружелюбно посмотрел на нас.

— Вы что, из санитарной службы муниципалитета? — спросил он.

Я почувствовал себя так, словно потерял что-то дорогое, что-то ценное: я был как призрак, гонящийся за невозвратимым прошлым. В тот же вечер, возвратившись в Хартфордшир, я начал писать воспоминания под названием «Мой старый дом в Ист-Энде»: из них-то и выросла эта книга.

## 1. Предки

Хотя Марк Голомбек был дюжий детина, курносый и рыжий — и вообще он больше походил на украинца, чем на еврея, — у него была чисто женская нелюбовь к насилию. Там, на родине, он был мелким служащим в одесском порту. Одесские грузчики больше всего на свете любили крепко выпить да хорошенько подраться, и поначалу Голомбек несколько раз получал на орехи. Но со временем портовые задиры научились уважать его острый язык, который резал, как бритва.

Когда Голомбек оказался в Лондоне, ему повезло больше, чем другим. Хотя о работе служащего — то есть, по-местному, клерка — не могло быть и речи, коль скоро Голомбек не знал английского, он не стал сидеть сложа руки. Сперва он развозил на тачке товары из лавки бакалейщика Шварца — того самого, что позднее открыл магазин на Уэнтворт-стрит. А потом Голомбек нашел работу гладильщика в портновской мастерской, женился на девушке из Польши и стал примерным тружеником и почтенным отцом семейства. Все шло как нельзя лучше, пока германский кайзер не вторгся в Бельгию. У Марка вся кровь вскипала, когда он думал об этой бесстыдной империалистической агрессии, однако это была война богатеев, рабочему человеку не пристало таскать для них каштаны из огня, и Марк не собирался поддерживать эту антинародную бойню, даже несмотря на то, что благодаря ей у него было сколько угодно сверхурочных и хороший заработок (страна нуждалась в солдатских мундирах). В карман каждой солдатской гимнастерки, попадавшей Марку под утыг, он засовывал написанную от руки листовку. Иногда в ней говорилось: «Отказывайтесь стрелять в своих

братьев — германских пролетариев! Объединяйтесь во имя мира!» Когда кровь у Марка особенно кипела, текст листовки был еще более пламенным: «Поверните ружья против своих истинных врагов! Долой кровавый капитализм!» И подпись: «Рабочий комитет борьбы за международную солидарность».

В этот самый комитет, кроме Марка Голомбека, входили стекольщик Гуревич и драпировщик Коган. Различие между двумя вышеприведенными листовками отражало внутреннюю идеологическую борьбу среди членов комитета. Гуревич и Коган отказались поддержать точку зрения, выраженную в первой листовке, ибо обнаружили в ней пацифистские тенденции. И по этой же самой причине они отказались проголосовать за то, чтобы комитет одобрил небольшую книжечку стихов под заглавием «Финстер ин майне ойген» («Тьма в моих очах»), которую Марк написал и напечатал за собственный счет.

Шумные собрания комитета проходили обычно в доме Гуревича в Спиталфилдсе — в комнате на втором этаже над мастерской, в которой Гуревич резал стекла и укладывал их в деревянную раму: эту раму он таскал на спине по лондонским улицам, крича громким, жалобным голосом, который передразнивали все мальчишки в округе:

— Меньявиндер! Меньявиндер!

Гуревич был маленький, тощий, тонконогий человек с нервными подвижными руками; он сильно горбился — то ли оттого, что с детства много читал, согнувшись за столом, то ли оттого, что ему постоянно приходилось сгибать спину под тяжелой рамой, следя при этом, чтобы стекла не выскользнули и не грохнулись на землю. Он был очень близорук и носил очки с невероятно толстыми стеклами; эти окуляры доводили его зрение до почти нормального уровня, но как-то странно искажали его лицо, так что казалось, будто его мягкие, серьезные глаза вплавлены в стекла очков; и когда Гуревич собирался снять очки, то окружающие ожидали, что под очками

на лице обнаружатся пустые глазницы. При Гуревиче существовала и миссис Гуревич, которая во время собраний Рабочего комитета обычно сидела в кухне и няньчила младенца. Однако больше всего Гуревич любил не жену, а революционную литературу: Дидро, Руссо, Сен-Симона, Радищева, Томаса Пейна, Локка, Карла Маркса и так далее; вот эти-то книги и испортили ему зрение, но зато они дали ему возможность при каждом удобном и неудобном случае козырять подходящими к месту цитатами, чуть только кто-нибудь из членов Рабочего комитета высказывал хоть малейшее намерение в чем-нибудь Гуревичу возразить. Гуревич был прирожденным конспиратором. Именно он придумал засовывать листовки в карманы солдатских гимнастеров: эта идея пришла ему в голову, когда он однажды потягивал чай с лимоном в так называемом институте «Арбетер Фрайнт», что на Джюбили-стрит, — социалистическом клубе для еврейских иммигрантов. Солдатскими гимнастёрками Гуревич отнюдь не ограничивался: он засовывал свои прокламации между страницами библиотечных книг и в рулоны туалетной бумаги в общественных уборных, разбрасывал их из окон автобусов, подсовывал под двери чужих квартир и посылал по почте членам военного кабинета мистера Асквита. Однако все эти дилетантские методы не могли его удовлетворить, и он мечтал о стаях хорошо обученных голубей, которые эскадронами летели бы к полям сражений и разбрасывали бы его листовки над воюющими армиями; он мечтал выкрасить колонну Нельсона на Трафальгар-сквер сверху донизу в революционный красный цвет; он мечтал о тысячах скрытых мегафонов, которые трубным гласом исполняли бы боевой гимн свободы со шпилей Вестминстерского аббатства.

Третий член Рабочего комитета — драпировщик Коган — был всего лишь послушным учеником. Он приехал в Англию из Вильны — «польского Иерусалима», и привычки ортодоксального иудея так глу-

боко в нем укоренились, что он никогда не стал бы заниматься заговорщицкой деятельностью в субботу, которую он проводил в синагоге «Махзике Адам». Холостяк лет тридцати, Коган очень переживал, что ему никак не удастся жениться, и чуть ли не все свое свободное время он проводил в Еврейском приюте в надежде вовремя подхватить там себе подходящую девственницу, только что приехавшую в Лондон из какого-нибудь восточноевропейского *штетла* и еще не успевшую развратиться. Но Когану ужасно не везло. Может быть, дело тут было в том, что его время от времени сотрясал кашель (как он уверял, потому, что легкие у него были забиты шерстяным волокном и кусочками конского волоса, которые Коган вдыхал, когда набивал матрацы и подушки для диванов); а может быть, девушкам была не по душе его бледность (результат работы в закрытом помещении), которую они принимали за признак скрытой хвори: ведь какая же здоровая еврейская девственница захочет пустить к себе в постель *кранкера*, то есть больного? Но как бы там ни было, а Коган рассматривал свое вынужденное безбрачие как результат гнусных козней зловредного общества.

А Гуревич, видя страдания своего друга, лишь подливал масла в огонь: он красочно сравнивал когановское одиночество с развлечениями пресыщенных богачей, расписывал, как они забавляются с обольстительными развратницами, и предлагал Когану товарищество нищеты и сладость мщения. Однако Коган проявлял революционный пыл лишь временами, изредка; красноречивые прокламации чаще комкались и рвались в клочья у него в карманах, чем выполняли свою агитационно-пропагандистскую роль, и для Гуревича кроткий Коган был главным образом полезен тем, что обеспечивал стекольщику большинство голосов в рабочем комитете, когда было необходимо сокрушить голомбековскую оппозицию.

Как-то в воскресенье после работы Коган зашел за Голомбеком, чтобы пойти вместе с ним на собрание.

— Я к ужину вернусь, — сказал Голомбек жене.

— Вижу, она-таки снова беременна, — с завистью в голосе сказал Коган, когда они с Голомбеком вышли на улицу. — И неужели ты думаешь, что это правильно — рожать детей и чтобы они потом жили в таком несправедливом мире?

— Когда они вырастут, они будут вспоминать про наше время и говорить, что это было варварское время, — предрек Марк. — Капиталисты так обезумели от жадности, что уже начали вгрызаться друг другу в глотки.

— Если бы я был женат, — сказал Коган, — и жена сказала бы мне: «Ну, а как насчет того, чтоб родить ребенка?» — то я бы-таки надел штаны, и только бы меня и видели.

Он глубоко вдохнул ноздрями воздух и стал плотоядно разглядывать щиколотки проходящих мимо женщин.

Они протащились через зловонную площадь, на которой по утрам бурлил Спиталфилдский рынок, и Коган время от времени нагибался, ковырял палкой в овощных отбросах и, найдя кусок более или менее съедобного плода, совал его в карман пальто. Не дойдя квартал до гуревичевского дома, друзья разошлись — так требовали правила конспирации, — а потом встретились снова уже перед лавкой стекольщика, сделав вид, что столкнулись тут друг с другом случайно. Коган негромко постучал. Заскрежетали болты. Гуревич открыл дверь и поманил их внутрь таким нелепо таинственным жестом, что если бы это увидел какой-нибудь подозрительный полисмен, он твердо уверился бы, что здесь находится воровской притон. Однако же склонность Гуревича к таинственности объяснялась вовсе не его страхом перед законом.

Старуха-мать Гуревича сидела перед камином, расставив ноги и грея изнутри ляжки.

— Ша, мальчик! — сказала она.

Трое друзей на цыпочках прошли в заднюю комна-

ту, которая была одновременно и спальней и кабинетом Гуревича. Комната благоухала, как тело давно не мытого нищего бродяги. На полу и на каминной доске были грудями навалены книги. С темных, мутных фотографий, висящих на стенах, глядели бородастые ортодоксальные евреи. Из мебели в комнате была лишь кровать, покрытая огромным пуховым одеялом, да один стул. Сквозь запыленное стекло крошечного окошка из зловещей вечерней темноты вырисовывался силуэт какого-то склала.

Сразу же начался ожесточенный — даром что шепотом — спор о повестке дня.

— Каждое собрание должно начинаться с зачитывания протокола предыдущего собрания. — наставительно сказал Гуревич и раскрыл тетрадь с напечатанной на задней обложке таблицей умножения: страницы тетради были исчерканы пометками на идиш.

Марк Голомбек возразил.

Коган согласился с Гуревичем.

— Нужно прочесть протокол, — сказал он, прокашлявшись, и сплюнул в камин.

После этого, как бы решив, что вопрос исчерпан, Коган вынул из кармана полусгнившее яблоко, срезал перочинным ножом кожуру и впилился в яблоко зубами. Но спор продолжался: от вопроса о повестке дня спорщики перекинулись на идеологию, а потом от идеологии — на стратегию; и каждый раз никому никого не удавалось переубедить, и они начинали переходить на личности.

— Ты всего лишь дилетант, — сказал Гуревич. — Философ из кофейни. Все, что тебе нужно, — это красивые слова.

— А ты кто, Гуревич?

— А я как Карл Маркс. Мне надоело объяснять мир. Я хочу изменить его. Изменить посредством революционного действия.

Густая кровь бросилась Марку в лицо, которое запылало почище его огненно-рыжих волос.

— Так расскажи нам, как ты у себя в Кишиневе вышел на улицу и плевал в конных казаков! И расскажи нам, уже в сотый раз, как ты двадцать дней голодал в тюрьме в Сибири! Вырви из груди свое горящее сердце, Гуревич, и покажи людям, как оно пылает ради свободы, как оно страдает!

Старуха заколотила в стену, чтобы они прекратили кричать.

— Пожалуйста, пожалуйста! — умоляюще сказал Гуревич. — Что, я тебя оскорбляю, а? Я же только говорю, что нам надо действовать.

— Необходимо действовать! — сказал Коган.

— Действие — да! Но насилие — нет! — взревел Марк и грохнул по столу своим увесистым кулаком.

За стеной захныкал младенец, и к нему тут же присоединилась его бабка, обрушившись на революционеров с жалобными ругательствами.

— Видишь, Голомбек, ты ребенка разбудил! — раздраженно сказал стекольщик. — Мало того, что жена меня пилит с утра до вечера! — Он пощипал кожу на лбу. — Послушай, я вот о чем думал: со всеми этими нашими листовками разве же мы спасли хоть одного человека, разве же мы уничтожили хоть одного врага? Так ведь нет! Вот взять хоть того мальчишку с нашей улицы, Солли Абрамовича, ему же только шестнадцать лет: уж я ли не давал ему читать твою пропаганду — те листовки, что ты писал? А он возьми да и сбеги в армию. Да они твоими листовками только жопы подтирают, извини за выражение. Бумажные пули, вот что они такое, твои листовки! Бумажные пули!

Коган мокро прокашлялся и кивнул.

— Каждое твое слово — правда! — сказал он со свистом. — Клянусь жизнью моей мамы!

— Для тебя идеи — это бумажные пули?

Марк вынул сигарету и дрожащей рукой зажег ее, а потом потряс погасшей спичкой около носа собеседника.

— Насидие? Тебе больше ничего в голову не приходит?

— Бомбы — это самые лучшие идеи! — сказал Гуревич, и его близорукие глаза увлажнились убежденностью.

— А по мне, так бомбы — это признак бессилия. бомбы — это признак, что человек отчаялся. бомбы — это доводы недорослей.

— Нет! — сказал Гуревич. — На самом деле все как раз наоборот. Бомбы — это единственный довод, который понимают все недоросли. Бомбы — это отказ от того, чтобы отчаяться. Бомбы. Голомбек. — это локомотивы революции, и те, кого пугает насилие, — вот они-то и есть дилетанты и белоручки. Как еще можно сокрушить империю или уничтожить тиранию? Или ты вежливо попросишь тирана уйти в отставку? А я говорю: с тиранией нужно бороться! Плевать ей в лицо! Коган, у тебя тоже есть свое мнение, почему ты молчишь?

Коган несколько раз качнулся из стороны в сторону, словно перекатывая вопрос в голове и пытаясь найти ему там место поудобнее. Он чувствовал себя неловко.

— В принципе, Гуревич, — сказал он задумчиво, — мне кажется, что ты, наверно, прав. Но то, что ты прав, так это-таки еще не все. Иногда бывает, что человек одновременно и прав и неправ. Как говорится в Талмуде, «не делай другому того, чего не хочешь, чтоб сделали тебе».

— А разве в Талмуде не сказано еще и другое: «Правда столь тяжела, что людям не нравится ее выносить»?

— Маленькая монета в большом кувшине делает большой шум, — сказал Марк. — Я тоже когда-то учился в ешиве. Не понимаю, зачем мы тратим время на то, чтобы спорить о бомбах, точно мы какие-нибудь анархисты с Сидней-стрит?

Стеколыщик беспокойно встал и принялся ходить взад и вперед по комнате.

— Мне стыдно, потому что мы сидим сложа руки.  
— сказал он сурово. — Или мы ждем, что придет Бог и нам поможет?

Он поглядел на кроткие лица своих родичей, которые торжественно глядели из рамок, висевших на стене, разукрашенной сырыми разводами. Это были лица людей, которые всю свою жизнь только и делали, что ждали, и ждали, и ждали...

— Мой отец кашлял кровью, когда ему было всего только тридцать лет, но он верил, что это Бог хочет, чтобы он выкашливал частички своих легких. Да пусть у Бога будут такие легкие! — взорвался Гуревич, не заметив, что Коган нервно дернулся. — Людей убивают, как диких зверей, разве вы не видите?

Марк сделал еще одну попытку.

— Все солдаты — это рабочие, — сказал он. — Когда-нибудь они поймут, что они братья по классу, что незачем им убивать друг друга. Немцы, французы, англичане, русские — все они скажут: «Зачем же это мы друг друга убиваем? Чего ради? Кому от этого прок?»

Гуревич бросил на своих товарищей мрачный взгляд.

— Ну, так что же мы запишем в протокол? — спросил он. — Что Голомбек советует нам ждть куда?

Марк сидел около гладильной доски и ел сэндвичи, когда пришла хозяйка и сказала, что его спрашивают внизу. Хозяин сердито взглянул на Марка из-за груды гимнастерок, ожидавших утюжки, и пробормотал:

— Ладно, но не больше пяти минут!

В прихожей стоял Коган, он был еще в переднике, к которому пристал конский волос и кусочки шерсти и пуха; на подбородке у Когана блестели капельки пота, он был бледен, как тяжелобольной, и зрачки его глаз округлились от страха.

— Гуревич! — астматически прошептал он. — Я всю дорогу бежал бегом! Даже пообедать не успел.

Нам нужно немедленно распустить комитет. Объявить об этом официально.

— Коган, о чем ты говоришь? Что там объявить? Зачем?

— Листовки — это одно дело, но нарушать закон...

Марк сурово поглядел на Когана и сграбастал его за руку.

— Выйдем на улицу, — прошептал он. — Ты что, хочешь, чтобы нас весь дом слышал?

На улице перед портновской мастерской мальчишки-подмастерья гоняли по брусчатке мяч под указующим перстом генерала Китченера, глядевшего с большого портрета на стене дома. Мимо прошла какая-то работница с пакетом под мышкой: поровнявшись с Коганом и Голомбеком, она плюнула им под ноги: еще бы, двое таких здоровых верзил — и не идут на фронт сражаться за короля и Англию!

— Ко мне прибежала его миссис, — сказал Коган. — Гуревич сломал два листа стекла и опалил себе брови, он совсем спятил. Ты что, не понимаешь? Гуревич делает бомбу!

Марк, прыгая через ступеньки, понесся наверх за своим пальто. Хозяин был в ярости.

— Ты уходишь? — закричал он. — Ну и работничек у меня на мою голову!

— Я скоро вернусь, — ответил Марк.

Хозяин схватил в охапку несколько гимнастеров, в сердцах бросил их на пол и заорал:

— Чтоб мне околеть, если я возьму тебя назад!

Смерть уже вгрызалась ему в желудок, и он, потирая живот, чтобы унять боль, побрел обратно к своему столу.

Жена Гуревича сказала, что ее муж пошел *швицен*. Своей проклятой политикой он на всю семью беду накликает. Бывает, ребенка нечем кормить, а этот старый дурак хочет спасти мир! Да, этот мир уж позаботится, чтоб их всех загнать в могилу! Коган с Голомбеком уже выскочили на улицу, а им вслед все

еще неслись и неслись крики разгневанной гуревичевской супруги.

В русской бане в одуряющей жаре очумело шевелилось несколько стариков. Марк и Коган быстро разделись и сели на скамью; голые, они чувствовали себя неловко, и Коган прикрыл свой детородный орган носовым платком.

— Он вреден мне для сердца, пар, — пожаловался он. — Пойдем отсюда, Гуревича здесь нет.

— Может, он в парилке? — сказал Марк.

— Я там совсем задохнусь, — возразил Коган.

Марк неохотно пошел в парилку: он и сам не любил жары. Кто-то спросил:

— Эй, Голомбек, как дела? Как Малка?

Горячий пар обжигал Марку легкие, глаза у него слезились. Он кивнул и двинулся к скамье, на которой сидел тощий сгорбленный человечек с опущенной головой. Человечек поднял свои обнаженные, беззащитные глаза и уставился на Марка, не узнавая его.

— Гуревич, — сказал Марк, — это я.

Бессильно опустив руки, стекольщик спросил:

— Кто — я?

— Ты знаешь, кто, — резко ответил Марк. — Что происходит? Что ты тут делаешь?

— Потеею, — лаконично ответил Гуревич и жалко улыбнулся. — Это очень полезно, очищает организм. Даже мозг начинает потеть. Вместе с потом выходит вся грязь. Комочки грязи, которые внутри, выталкиваются наружу через поры в коже, и в конце концов наружу выходит только чистая вода. — Гуревич поднял руку и подержал ее на весу. — Смотри! Она уже чистая! Из меня можно пить, как из реки.

Марк попытался было ухватить его за руку, но Гуревич ускользнул и был таков, напоследок выкрикнув из клубов пара туманное пророчество:

— Не отчаивайся, Голомбек! Цель оправдывает средства!

И так-то они отваживаются говорить с армией обреченных? Марк поспешно оделся и вышел на улицу, в сгущающиеся зимние сумерки. Улица была почти пустыня. В домах, за зашторенными окнами, мутно мерцали газовые светильники. На гладильной доске в портновской мастерской громоздились френчи на саржевой подкладке цвета детского поноса: Марку следовало ожидать быстрой расплаты. Он мрачно поплелся к дому Гуревича и постоял там некоторое время, глядя на окна. Тротуар был холодный, и у него озябли ноги, но пока хоть одному человеку угрожала опасность, он не мог махнуть на все рукой и оставить свою вахту.

Стекольщик появился, когда стало уже совсем темно и очень холодно. Из-под пальто у него что-то выпирало. Марк окликнул стекольщика, но тот притворился, что не слышит, и быстрыми шагами пошел прочь, горбясь, как обычно, словно он и сейчас тащил раму со стеклами. На Олдгейте толпы людей роились, как мухи, вокруг баров, кондитерских и размалеванных девиц. Гуревич ни на что не обращал внимания, он только крепче прижал руку к пальто — к тому месту, где у него было что-то под пальто.

Марк весь содрогнулся от страха при мысли, что может случиться, если какой-нибудь проходящий мимо солдат ненароком толкнет Гуревича. Он ринулся вперед и схватил Гуревича за рукав; тот испуганно обернулся.

— Уходи! — сказал Гуревич. — Это не твое дело!

— Я тоже член Рабочего комитета, — упрямо сказал Марк. — На нас лежит коллективная ответственность. Что там у тебя под пальто?

Между ними втиснулась какая-то дамочка, которая явно была под мухой; она обняла их обоих за плечи.

— А вы, жиденята, почему не в мундирах? — спросила она мягко.

Марк ответил ей на идиш:

— Проваливай отсюда, блядь сифилитическая!

Она кивнула, кокетливо склонила голову и улыбнулась.

— Миленок мой, иди в армию, там из тебя сделают мужчину! — сказала она Марку.

Вырвавшись от Марка и от проститутки, Гуревич тем временем уже несясь вперед сквозь толпу к Тауэру. Как уже было установлено на дискуссиях в Рабочем комитете, в идеальном обществе люди будут товарищески обмениваться плодами своего труда в соответствии с нуждами каждого из них, не помышляя о прибыли. Может быть, Гуревич собирался совершить диверсионный акт против денежной фабрики — Королевского монетного двора? Возобновляя погоню, Марк подумал, что если уж кто-нибудь одобряет террористическую деятельность, то монетный двор — это, пожалуй, самый подходящий объект для диверсии.

Позднее, когда Марк рассказывал людям эту историю, всех поражало, как искусно Гуревич сумел ускользнуть от своего преследователя. Вот только что был здесь, впереди, и вдруг его не стало — он словно сквозь землю провалился; и повсюду была только пустая улица, даже ничьих шагов не было слышно. В те годы Ист-Энд был погружен в темноту, а Гуревич приобрел повадки заправского конспиратора: он научился быстро прятаться в неосвещенных пустых дворах и безлюдных подворотнях, в которых можно было бы целый полк посадить в засаду. Марк не обнаружил своего друга ни в монетном дворе, ни в Тауэре, который по крайней мере охранялся вооруженной стражей, — она ритмично вышагивала взад и вперед перед воротами, по двору, по валу и по набережной. Уже совсем отчаявшись разыскать Гуревича, Марк повернул было назад, но, переходя улицу, он снова увидел доморощенного террориста в небольшой группе людей, сгрудившейся на вершине Тауэрского холма вокруг помоста, на котором когда-то обезглавливали дворян, впавших в немилость у короля.

— Надвигается Армагелдон. — говорил проповедник, цитируя популярную в те годы проповедь. — И скажут на всех дорогах: увы, увы! Непорочные девы и молодые отроки пали под мечами...

— Дело сделано, — мирно сказал Гуревич: на толстых стеклах его очков мерпали блики света, и он беззлобно улыбался.—Голомбек—это же был вопрос принципа. Ты ничего не мог сделать, чтобы этому помешать. А теперь пойдем домой. Завтра мы прочтем обо всем в газетах.

Марк поглядел на Гуревича в паническом ужасе, и тут ему в голову пришла отчаянная идея: он ухватился за нее, как утопающий за соломинку.

— Ах, вот как! Ты так думаешь? — сказал Марк, с натугой вымучивая из себя ехидный смехок. — Ничего мы завтра в газетах не прочтем! Говорю тебе, ничего!

Гуревич развел руками, изображая необыкновенную терпимость.

— Такие новости бывают не каждый день! Посмотрим, как это будет. Послушай, друг мой... — Взгляд его засветился нежностью. — Зачем нам ссориться из-за того, что теперь уже *fait accompli*? Ну, нам пора идти отсюда. У нас мало времени.

— Мало времени? А я хотел бы прожить столько, сколько у нас сейчас есть времени.

— Тогда через двадцать минут по тебе можно будет читать *кадиш*.

— Я шел за тобой всю дорогу, — быстро сказал Марк, стараясь, чтобы его слова и тон звучали как можно убедительнее. — Я видел, куда ты ее положил, и я бросил ее в реку.

Стекольщик медленно повернулся на каблуках и недоверчиво уставился на Марка своими близорукими глазами.

— Ты за мной следил? Неужели я свалил такого дурака? Вздор!

— Будет время, ты меня еще благодарить будешь. — сказал Марк. — Я подарил тебе чистую совесть.

И, может быть, даже подарил тебе жизнь.

Пытаясь выглядеть как можно беззаботнее, Марк заставил себя повернуться и зашагать прочь.

— Стой! — взвизгнул Гуревич. — И все ты мне врешь!

— Не хочешь — не верь.

— Или ты думаешь, что жизнь мне так уж дорога? Так уж драгоценна? Да если бы не мама, я бы хоть завтра готов был умереть.

— У тебя есть жена, и у тебя есть ребенок. — сказал Марк. — Они тоже имеют свои права.

Стекольщик поднял на Марка глаза, в которых была боль.

— Шува будет только рада. — произнес он. — Она влюблена в своего двоюродного братца. Чей это ребенок? Его или мой? Я не знаю.

«Повсюду страдание. — подумал Марк, и у него стало тяжело на сердце. — Все человечество страдает».

Неожиданно Гуревич повернулся на каблуках и со всех ног бросился к Тауэрскому мосту. Сначала могло показаться, что стекольщик в отчаянии задумал было броситься в воду. Но он побежал по середине моста, потом сделал рывок в сторону, остановился у парапета и уставился вниз, в темную холодную воду. И вдруг он быстро, украдкой бросил взгляд на кромку моста, выступающую над водой на уровне его ног. Марк перехватил его взгляд и увидел какой-то пакет, незаметно притороченный к кромке. Они оба одновременно подскочили к пакету и, схватившись за него, стали тянуть каждый к себе.

Марк одолел: он вырвал у Гуревича пакет и пустился наутек. Пакет был какой-то необычно теплый: Марку казалось, что он ощущает внутри пакета страшную, разрушительную силу. Никогда в жизни ему не было так страшно: он надеялся, что если бомба взорвется у него в руках, то он будет убит на месте, а не останется слепым или как-то по-другому изувеченным. Желая как можно скорее выбросить

пакет в реку, Марк помчался к другому парпету и уже был почти у цели, как вдруг споткнулся о край тротуара и растянулся во весь рост, а пакет, словно самостоятельно управляемый каким-то своим собственным мотором, выскочил из рук и отлетел в сторону. Марк ждал, что сейчас весь мир вокруг него полетит вверх тормашками. Ну, и что особенного, разве он больно уж важная персона? В такие-то годы, когда каждый день гибнет столько людей, что ему, больше всех надо? Малка еще достаточно молода, чтобы снова выйти замуж... Однако секунды шли за секундами, и ничего не происходило — только у Марка заняло рассеченное колено. Он медленно, неуверенно поднялся на ноги. Остатки гуревичевской бомбы лежали на тротуаре в нескольких шагах от него — осколки стекла, рассыпавшийся серый порошок, какие-то мокрые пятна, — может быть, кислота — и разбитый часовой механизм.

— Предатель! — сказал стекольщик. — Лакей паризма! Штрейкбрехер!

Он плюнул на асфальт и, сгорбившись, поплелся прочь.

Марк пошел домой ужинать. Он поцеловал жену и долго смотрел на спящих детей. Это приключение обошлось ему в шесть шиллингов, которые хозяин удержал из его заработка, — по тем временам это была довольно порядочная сумма. Война, конечно, продолжалась, но Рабочий комитет борьбы за международную солидарность никогда больше не собирался, а революция — когда она, наконец, разразилась — оказалась вовсе не такой, какой Марк ее видел в своих голубых мечтах.

## 2. Под материнским присмотром

На стене висела его фотография: у него были румяные щеки и алые губы, раскрашенные фотографом, который увеличил маленький снимок до размеров большого портрета. И еще у него были густые нафабранные усы и пронзительные глаза, которые рыскали за мной следом по всей комнате, словно обвиняя меня в том, что я осмеливаюсь жить на белом свете. Вряд ли у кого-нибудь в такой степени не было отца, как у меня: довольно долго я даже толком не знал, как его зовут: то ли он был Макс, то ли Марк. Создав для нашего мира скорби и печали троих сыновей и зачав четвертого, этот Макс или Марк уехал обратно в Россию еще в те годы, когда я прятался от прочих людей за широкими юбками моей матери, возвышавшейся надо мной, как башня.

То, что я рос сиротой, меня ни капельки не огорчало. Другие отцы, сколько я их ни видел, все были не Бог весть какое сокровище. Я очень скоро отнес их к какому-то враждебному виду рода человеческого. От них постоянно несло запахом пота и крепкого табака; когда они, не спросив моего согласия, сграбастывали меня в охапку, то непременно царапали мне кожу своими грубыми бородами; а их грубые голоса вырывались откуда-то из желудка, словно гром, зародившийся где-то в кишках. Я смотрел на свою сильную, умную, красивую мать, которая в эти наши нежные годы защищала нас, малышей, от всего мира, и радовался за нее, что она отделалась от такого существа. Он бросил ее, беременную, когда ей было двадцать два года, и не оставил ей ровным счетом ничего, кроме троих малышей и четвертого малыша в животе да еще швейной машины и мастерства портнихи. Добросердечные соседки приносили ей за-

казы и забирали сделанную работу. Платья, выставленные в витринах роскошных магазинов на Уайт-чепелрод, по своей красоте и изяществу ни в какое сравнение не шли с теми платьями, которые моя мать шила за суший бесценник, чтобы прокормить свою голодную ораву — то есть нас. Из остатков и обрезков материи она и нам тачала одежду. И так как она заставляла нас отращивать длинные волосы, то нас часто принимали за девчонок, и это было нам ужасно досадно. Как-то я забрался на платяной шкаф и просидел там несколько часов только для того, чтобы не пойти в шабат в синагогу в новом матросском костюмчике из светло-зеленого вельвета. Хуже того, мать так и не научилась делать на мальчишеских штанишках разрез для ширинки в правильном месте, и поэтому, когда нужно было пописать, нам приходилось, к стыду своему, либо вовсе спускать штаны, либо стараться изловчиться оправиться через штанину таким образом, чтобы не опisać себе носки и ботинки. Ничему мы так не завидовали у других мальчишек, как штанам с нормальной ширинкой — на пуговицах и в нужном месте. Отцам этих мальчишек (если они у них были) не о чем было беспокоиться.

Но в общем-то многие были в таком же положении, что и мы. У одних отцы погибли на фронте, у других, как у нас, уехали в Россию и стали там делать революцию. Одного из немногих оставшихся в нашем доме отцов звали Бенни Зингер. Это был нервный, постоянно дергающийся человек с серым лицом; ему удалось отвертеться от мобилизации тем, что он несколько недель питался лишь хлебом и водой да курил по сотне сигарет в день, а потому заболел и был признан негодным к военной службе. Были еще старики, страдавшие одышкой, да калеки, потерявшие на фронте кто руку, кто ногу. Но по мере того, как я все смелее и смелее выползал из-за материнских юбок, мне начинало казаться, что отцов в нашем квартале постепенно прибавлялось. По лест-

нице то и дело топали вверх и вниз какие-то чужие дяди; то из одной, то из другой квартиры доносились взрывы смеха и громкие, басовитые голоса; то тут, то там устраивались вечеринки. Я и глазом не успевал моргнуть, как какого-нибудь мальчишку, который еще вчера беззаботно гонял по улицам, сегодня вдруг, точно пленника, насильно уводили в школу или в синагогу и начинали за ним следить, чтобы он не бедокурил. Ох уж эти мне отцы, всегда от них было одно только беспокойство! При них женщины громче ругались, дети чаще плакали, а соседи начинали дубасить швабрами друг друга в потолок и стены. В конце концов, как только около нашей парадной останавливался какой-нибудь незнакомый мужчина, я в панике начинал думать о том, не дошла ли, не дай Бог, очередь и до нас. Даже если незнакомец вдруг становился не моим, а чьим-нибудь чужим отцом, моя тревога не проходила. Я со страхом ждал, что мужчина с фотографии — тот, с пронзительными глазами и нафабранными усами — вдруг высунется из рамки, нагнется и начнет осыпать поцелуями мою единственную маму.

Но это не начало. Мне, пожалуй, следует вернуться на несколько лет назад. Мои родители приехали в Англию незадолго до войны 1914 года из Одессы — русского города на Черном море; как и многие другие эмигранты, они бежали от царского гнета в страну мечты — Америку, о которой грезил вся европейская беднота. Портные говорили, что там, в Америке, у каждого человека есть по три, а то и по четыре разных костюма. У стекольщиков захватывало дыхание при мысли о том, сколько окон со стеклами имеется даже в самом крошечном небоскребишке. Сапожники с блеском в глазах подсчитывали, что у американцев около двухсот миллионов ног и на каждой ноге по ботинку или туфле. Там, в Америке, для людей всех ремесел улицы были вымощены золотом, и все люди каждый день ели мясо. И еще — Свобода: а ведь это тоже не фунт изюма.

Однако моим родителям добраться до Америки так и не удалось. Если судить по той мозаике, которую я за долгие годы собрал из обрывков материнских воспоминаний и сложил в какую-то более или менее ясную картину, дело тут было вот в чем. В одно прекрасное утро эмигрантов, спавших в зловонном трюме, разбудил звук сирены; они высыпали на палубу и сквозь утренний туман стали жадно вглядываться вдаль. Но где же Статуя Свободы, где Бруклинский мост, где самые высокие дома на свете? Немногословный моряк — да околеет он от холеры, да зачахнут его дети во чреве матери! — заявил, что любой человек, кроме еврейской швали, должен был бы понимать: тех денег, что они заплатили, не хватит даже на то, чтобы переехать на пароме через добрую реку, не то чтобы добраться до Нью-Йорка. Ни проклятья мужчин, ни вой женщин ничему не помогли. Всех их высадили на берег, и им в ноздри ударил острый запах Лондона. И они сразу поняли, что это такое. Это был запах нового галута.

Я у своих родителей был вторым сыном, и к тому времени, как я родился, мечты об Америке уже исчезли, как исчезают всякие мечты. Мой отец (о котором я помнил только, что поперек его негостеприимной груди шла цепочка от часов) последовал за мечтами — и тоже исчез. Впервые я себя помню лет трех, помню страх и неприятное ощущение, когда мы перебрались в нашу двухкомнатную квартиру с крошечной кухней в Бетнал-Грине, на Фуллер-стрит. На ломовой телеге мы перевезли весь наш скarb: кое-какую подержанную мебель и швейную машину. Меня, помню, сняли с телеги двое обтрепанных, свирепого вида мужчин, которые потом поплевали себе на руки и принялись таскать вещи, кряхтя и сгибаясь под тяжестью дивана, кровати и массивного платяного шкафа. И когда я следом за ними поднялся по лестнице в квартиру, где мне предстояло прожить двенадцать лет, у меня в носу зашекотал кислый запах, поднимавшийся от стоявших во дворе мусорных

баков. Затем в квартире расставили мебель, на газовую конфорку поставили чайник, и комнаты наполнились соседками, которые пришли поздравить мою мать с новосельем; и все они возбужденно залопотали на идиш — языке, в котором и по сей день я слышу голос своей матери. Так мы стали членами нашей племенной общины.

Многоквартирный дом, в котором мы поселились, представлял собою что-то вроде местечка в миниа-тюре: там жили беженцы, которые уснащали свою речь на идиш словами и фразами из русского, польского, литовского языков. Мы пели песни восточно-европейских гетто или народные песни Российской империи и ели те же самые традиционные блюда, которые были в ходу на нашей старой родине. Новости мы узнавали из еврейской газеты, и обычно это были невеселые новости: там прошел погром, там кого-то обвинили в ритуальном убийстве, и повсюду была тирания. В нашей крохотной гостиной то и дело беседовали о людях, которые теперь давно уже стали историческими личностями, — не только о Ленине и о Троцком, о которых все говорили, что они делают евреям добро, но еще и о жестоких антисемитах, таких, как Петлюра, Деникин и злодей Махно, бандит-анархист, проливший реки еврейской крови. Письма из России приходили редко, а если и приходили, то это были письма давностью в несколько недель, облапанные и перештемпелеванные целой ордой цензоров; в письмах говорилось о том, что в России голод и что хорошо было бы, если бы мы послали одну-другую продуктовую посылку; мы посылали такие посылки, но они никогда не доходили до адресатов сквозь кордон голодных советских комиссаров. Из одного такого письма, — кажется, это было последнее письмо, дошедшее до нас, — моя мать узнала, что ее пятнадцатилетнего брата Менделя по ошибке расстреляли белые, приняв его за большевика, и что после этого его (и моей матери) отец прочел по сыну кадиш, вернулся домой и умер. Весь день

мать лежала на кровати и плакала над старой фотографией, а нас увели к себе и кормили сердобольные соседи.

Люди говорили о Варшаве, Кишиневе, Киеве, Харькове, Одессе, словно это были лондонские пригороды, до которых рукой подать. А женщины вели себя так же, как они привыкли вести себя в своем местечке: они обменивались сплетнями за стиркой белья, они орали на озоровавших детей, они ссорились, плакали, ругались и смеялись, никого не стесняясь. По вечерам они сходились на кухне то в одной, то в другой квартире, сажали к себе на колени утомившихся за день детей и судачили о том, о сем, а нас ужасно клонило ко сну. Так-то вот, в полудреме, мы впитывали свои детские еврейские впечатления и воспоминания — рассказы о далеких краях, которые мы никогда своими глазами не увидим, о чудесных раввинах, о том, как злые казаки поддевали на копья еврейских младенцев, о том, как еврейские семьи прятались в подвалах, а погромщики дубасили в двери, крича: «Бей жидов, спасай Россию!» Но не только это — а еще и чудесные, смешные анекдоты о царях и рогоносцах, о нищих и миллионерах.

За углом была Бэкон-стрит, которая даже нам казалась убогой. Евреев, насколько я знаю, там жило только двое: бедолага-шарманщик да холодный сапожник, которого едва было видно из-за груды стоптанных, вонючих башмаков, едва ли стоящих того, чтобы их чинить. До тех пор, пока я не стал большим и сильным, я, если мне нужно было пройти по Бэкон-стрит, старался проскользнуть по ней как можно быстрее и незаметнее: там жили простые, грубые люди, любившие поиздеваться над беззащитными. Когда они, покачиваясь, вываливались из баров, хрипло распевая песни и в пьяной нежности обнимаясь друг с другом, я начинал понимать, как могут выглядеть пьяные погромщики, и пускался наутек. Мальчишки на Бэкон-стрит, видя нас, принимались распевать: «Соломончик, Соломончик, скушай маленький

батончик!», — а однажды, когда мы с моим младшим братом играли на углу в мяч, к нам подошел какой-то верзила и спросил:

— Это вы, гады, распяли Христа? Ну, так я сейчас врежу вам за это по яйцам.

Что он и сделал.

В угловом доме, напротив нашего, жила какая-то сумасшедшая цыганка, от которой несло, как из помойки. Целыми днями, кроме воскресений, она сидела у окна, облокотившись на подоконник, и злобно глядела на наши окна; а по воскресеньям, вечерами, она, шатаясь, вылезала из бара, трясла сережками в свете уличного фонаря и орала так громко и пронзительно, что будила всех спящих детей в округе:

— Христуубивцы! Все вы христуубивцы!

Мы довольно быстро поняли, что ее мелодраматические представления совершенно безвредны: это было просто благословение Божье по сравнению с хулиганскими выходками, с которыми нам всем нередко приходилось сталкиваться; насилие в нашем районе было таким же обычным делом, как перемена погоды, и в атмосфере насилия мы жили изо дня в день, считая гроши и расталкивая друг друга локтями, чтобы урвать себе побольше места в нашем тесном кирпичном ящике.

Когда мне было четыре года, мать купила мне пару башмаков со стальными подковками и сказала, что сейчас мы пойдем гулять; и, не обращая внимания на мой визг, она потащила меня в самый высокий дом, какой я когда-либо видел. В доме стоял такой шум, что хоть святых выноси. Меня выдали какому-то чудовищу, носившему юбку и очки в золотой оправе; голос чудовища скрежетал и лязгал, как лезвия острых ножниц. Чтобы как-то меня успокоить, чудовище открыло передо мной книжку с картинками; но это был гнусный трюк, потому что, когда я обернулся, моей мамы уже нигде не было — она исчезла. Чудовище схватило меня за руку так крепко, что острые ногти впились мне в кожу, и

втокнуло меня в какую-то большую комнату, где на меня тут же уставилось несколько рядов детских лиц. Школа! Это был действительно жестокий удар, и я весь день ревел так, что у меня все лицо распухло, и, словно посаженное в клетку животное, пинал ногами всякого, кто неосторожно отваживался ко мне приблизиться. Однако уже через неделю я без памяти влюбился в учительницу по имени мисс Бейкер — худенькую женщину с длинным, добрым, немного лошадиным лицом, рыжими волосами и голубыми глазами, красивыми, как у куклы. Так я отомстил своей предательнице-матери.

Чтобы понравиться мисс Бейкер и отвоевать ее сердце у моих сорока соперников — других детей, тоже жаждавших ее благосклонности, — я просто из кожи лез вон. Когда она приказывала себя слушать, я застывал, как окаменелый, и сидел с выпученными глазами, стараясь даже не дышать, чтобы слушать мисс Бейкер лучше, чем кто-либо другой. Я готов был, сжав ноги, подвергаться ужасным мучениям, только бы она не подумала, что я из тех мальчиков, которые способны совершать такое неприличное действие, как писать; а когда мне становилось уже совсем не вмоготу, я время от времени чуть-чуть, небольшими порциями писал в штаны и так умудрялся додержаться до перемены. Гораздо труднее мне было поразить мисс Бейкер своими знаниями, потому что ученик я был отстающий. Буквы у меня отказывались складываться в слова, а слова — в предложения, и строчки у меня прыгали по странице во все стороны, как взбесившиеся лошади. Ужас сколько неприятностей доставляла мне еще золотая рыбка в небольшом аквариуме, стоявшем на учительском столе. Как только я пытался сложить какие-нибудь числа, рыбка тут же отвлекала мое внимание, я путался, и ответ получался неверный.

Из-за своих стараний заслужить похвалу мисс Бейкер я попал однажды в беду. Она стала спрашивать учеников, у кого кто папа. Я сидел и чувствовал себя

глубоко несчастным: уж лучше бы она стала спрашивать про мам.

— А ты, Эмманюэл: где твой папа работает? — спросила мисс Бейкер, когда очередь дошла до меня.

Я закрыл глаза — отчасти потому, что хотел подумать, а отчасти потому, что надеялся таким образом побудить учительницу отойти от меня. Но она не отошла. Тогда я уставился на золотую рыбку в аквариуме и стал моргать глазами.

— Он ловит рыбок, золотых рыбок, — произнес я наконец.

Мисс Бейкер наклонила голову набок и улыбнулась, обнажив красивые белые зубы.

— Ты же сам знаешь, что это неправда, — сказала она мягко. — Золотые рыбки водятся в Китае. Что, разве твой папа живет в Китае?

Весь класс вытаращил на меня глаза. Елозя по полу носком ботинка, я выдавил из себя:

— Он ловит рыбок в парке «Виктория».

Тогда Сисси Столяр, сидевшая со мной на одной парте, облизала губы и подняла руку.

— Мисс Бейкер, — прошептала она, — у него есть только мама.

Мисс Бейкер вынула из рукава своего платья обшитый кружевами носовой платок и высморкалась.

— О Боже! — воскликнула она. — Он был на фронте? Он пал смертью храбрых на поле битвы?

Ее тоненький голосок звучал так нелепо, что я не мог заставить себя на нее взглянуть. В полосе солнечного света, падавшего из окна, кружились пылинки — они бесследно исчезали, достигнув тени. На стенах были развешаны лозунги, которые я не мог правильно прочесть. В соседнем классе дети хором распевали таблицу умножения. Мисс Бейкер ждала моего ответа. Я не знал, был ли мой отец на фронте или нет, не знал, хорошо ли иметь отца, который сейчас в России, не знал, пал ли мой отец на поле битвы или нет; я ничего не знал, и это было так мучительно...

— Да, он пал, — сказал я. — Но, наверно, он еще встанет.

Мисс Бейкер грустно улыбнулась и покачала головой — и я понял, что сморозил глупость. Взрослые никогда не падают — разве что когда они пьяные. Конечно, сейчас мисс Бейкер поставит мне плохую отметку. Рядом со мной сидела Сисси Столяр, она была такая хорошая и умная. Протянув руку за скамейкой парты, я ущипнул ее за задницу. Сисси взвизгнула, из глаз у нее брызнули слезы.

— Это было очень некрасиво с твоей стороны, воспитанные мальчики так не поступают! — сердито сказала мисс Бейкер. — Мне за тебя стыдно.

«Шмакель! — подумал я вызывающе; поступив «невоспитанно», я почувствовал себя сильным и упорительно порочным. — Тохес! Гнида! Засранка!»

В этот день меня оставили в школе после уроков. Учительница сидела за своим столом, глядя на меня сверху вниз из-за вазы с нарциссами. Она говорила очень-очень строго, вертя в пальцах, украшенных перстнями, классную указку. Она сказала, что я должен дать слово никогда больше не щипать Сисси Столяр. После некоторой внутренней борьбы я дал слово.

— И никаких других девочек! — добавила учительница уже более добрым голосом.

— Хорошо, мисс Бейкер, и никаких других, — сказал я.

Мисс Бейкер протянула руки и прижала меня к себе. Ее рыжие волосы мягко коснулись моей щеки, и я услышал, как бьется ее сердце. От нее исходил приятный запах пудры. Моя невоспитанность, которая по непонятным мне причинам как-то связывалась с моим таинственным исчезнувшим отцом, была вознаграждена. Чтобы продлить блаженство, я заставил себя всхлипнуть, и учительница почему-то удовлетворенно улыбнулась. Это был самый блаженный момент в моих отношениях с мисс Бейкер — до тех пор, пока год с чем-то спустя, пытаюсь пройти по

узкой стене школьного сада, я упал и сломал себе руку.

Очень, очень долго от моего отца не приходило никаких известий, и поэтому мы пошли к представителю большевистского правительства в Лондоне, чтобы выяснить, не может ли он что-нибудь нам сообщить. Фамилия этого представителя была Литвинов, но он был нам не родственник. Мы пришли к нему с рекомендательной запиской от одного человека, который жил на нашей улице.

— Я был знаком с Максимом, когда его еще звали Меир Волох, — сказал нам этот человек. — Просто передайте ему привет от Мотке Шварца, и он ради вас в лепешку расшибется, да еще за честь сочтет.

В приемной перед кабинетом этого Литвинова целыми семьями толпились евреи. В воздухе — хоть топор повесь — висел густой дым от крепких русских папирос, и люди громко, через всю комнату переговаривались друг с другом на идиш. Мы заняли очередь за какой-то женщиной, которая очищала скорлупу с крутых яиц и клала эти яйца в рот своим нескольким детям. Вскоре мы уже делились с ней бутербродами, рассматривали фотографии ее львовских родственников и слушали душераздирающие отрывки из писем ее мужа. Как только в приемную вошел кто-нибудь, у кого был официальный вид, моя мать бросалась к нему с запиской от Мотке Шварца, но каждый раз оказывалось, что она обращается не по адресу. В конце концов в приемную вошел усталый мужчина — такой сгорбленный, словно у него на плечах лежала вся Россия, — и начал прием посетителей. Они один за другим подходили к нему, усиленно размахивали руками у него перед носом и высказывали свои просьбы и жалобы. Он внимательно всех выслушивал, пожимал плечами, сморкался, заполнял какие-то анкеты. Когда дошла наша очередь, моя мать потребовала, чтобы ей дали возможность поговорить с *самым главным*, потому что у нее есть

к нему записка от его старого друга Мотке Шварца. Кроме того, у него та же фамилия, что и у нас: а вдруг мы родственники, чего не бывает!

Сгорбленный человек устало провел рукой по глазам.

— Послушайте, *йидене*, — простонал он. — Я ведь и сам еврей. Я родом из *штетла* под Перемышлем. Я видел тысячу таких, как вы. Неужели вы думаете, что такому большому комиссару, как товарищ Литвинов, больше нечего делать, кроме как разыскивать вашего мужа?

— Но он может хотя бы поговорить со мной, — сказала мама. — Я же ведь все-таки живой человек, разве же нет?

Уйдя несолоно хлебавши и продолжая мучиться неизвестностью, она решила обратиться к гадалышке, который дал объявление в еврейской газете «Ди Цейт»: гадалыщик брался давать советы по всем вопросам, касающимся работы, брачных дел, пропавших родственников и любовных переживаний. Мы ожидали увидеть величественного мага в расшитом блестками одеянии, однако вместо него у нас в квартире появился мужчина в черном котелке и длинном, до пят черном лапсердаке. Он вынул из портфеля пачку восхищенных отзывов, написанных благодарными клиентами, которым он правильно предсказал их судьбу; некоторые из этих отзывов были обтрепанными, как старые любовные письма. Потом гадалыщик опустил в жесткое кресло и тяжело застоялся.

— Извините меня, миссис, — сказал он по-английски с сильным акцентом. — Плохая спина. Вы не знаете, какое я имею страдание.

— О, это я понимаю, — сказала мама. — Уж поверьте!

Она всегда понимала, что значит страдать.

Потом они оба тяжело вздохнули, на столе был расстелен квадратный кусок черного бархата, и гадалыщик вынул из портфеля колоду карт и предло-

жил моей матери ее перетасовать. Затем он взял колоду и, облизав губы, стал медленно раскладывать на столе карты, после каждой карты делая долгую паузу. На лбу у него собрались глубокие складки. Мы все, толкая друг друга, сгрудились поближе к столу, чтобы лучше видеть гадалщика и не пропустить полагающихся чудес.

— *Киндер, киндер!* — запричитал он, ибо своей возней мы нарушили его сосредоточенные размышления.

Мать отогнала нас было прочь, но мы снова придвинулись к столу. Я взял ее за руку.

— Ну, хорошо или плохо? — спросила она гадалщика, сжимая мои пальцы.

Гадалщик приподнял одно плечо (это означало у него, что он пожал плечами).

— Пока что, слава Богу, ваш муж в полном здоровье. Может быть, от ревматизма он мучается немного.

— Что вы, доктор, что ли? Скажите мне только одно: где он сейчас? В Одессе, в Москве, в Минске, в Пинске, в Двинске? — Она подчеркивала каждое слово энергичным жестом. — И когда он к нам вернется? Мне приходится так тяжело работать, чтобы заработать на кусок хлеба!

— Такая молодая, и уже имеете столько невзгоды, — сказал гадалщик, покачивая головой.

Он медленно разложил на столе другую комбинацию карт. Потом, как и в первый раз, он откинулся назад и озабоченно поглядел на стол. Рука его дернулась и повисла над картами, как будто он хотел их прикрыть.

— Если что-нибудь плохое, так скажите уж сразу, — резким голосом потребовала моя мать. — Вранья мне не нужно.

— Это есть язык загадок. Нужно, чтобы слушала не голова, нужно, чтобы слушала *нешума* — душа! — Казалось, в поисках вдохновения гадалщик опустил уже в глубины собственной души. — Ваш

муж, он борется. Он переезжает из одного места на другое. Иногда человек — он как слепой, который ставит одну ногу после другой, пока он не упадет через край этого мира в геенну огненную.

— В геенну! — горько сказала мать. — Из такого места никто не возвращается, даже если у него и нет ревматизма.

Гадалышик беспомощно поглядел на потолок. Он сложил свой черный бархат, собрал карты и сунул их в портфель. При этом из портфеля выпал бумажный пакет, а из него выкатилась круглая слобная булочка.

— Говорить неправду легко, — сказал он, поднимая булочку и очищая ее о рукав, прежде чем сунуть назад в бумажный пакет. — Ответ, он еще скрытый от глаз. Но я обещаю одну вещь: не очень долго больше вы будете жить одна.

Мать встала и пошла на кухню сварить чай. Гадалышик молча проводил ее глазами, задумчиво вонзил верхние зубы в мякоть большого пальца правой руки, поднялся и последовал за ней.

— Это нелегко — молодой женщине воспитать детей без отца. Может быть, вы нуждаетесь иметь хорошего друга, мужчину в доме? Чтобы дать вашим *киндер* хорошее еврейское воспитание.

Он обвинил ее рукой за талию.

— Мистер, — сказала мать, сердито отталкивая его, — пока я могу жить трудом рук своих, таких советов мне не нужно.

Гадалышик ушел, не дождавшись чая, но после этого у нашей матери появились новые причины для беспокойства. Да, еврейское воспитание! В конце концов ведь мы же не на луне живем. Ведь мы же живем в еврейской общине. Мать сердито посмотрела на нас. С тех пор, стоило кому-нибудь из нас сделать что-то неположенное, она крутила непослушнику уши и кричала:

— Ты растешь, как дикий *гой*!

В такие минуты я боялся, что она с отчаяния пой-

дет и приведет нам какого-нибудь отца. Но она нашла другое решение.

Однажды в воскресенье утром пришел сосед и забрал меня и моего старшего брата Эйби. Он повел нас на рынок, купил нам плоские серые шапочки, налезавшие до ушей, и записал нас в местную *Талмуд-Тору* — религиозную школу при синагоге за углом, которая называлась «Синагогой для рабочих».

Мы занимались в мрачной комнатухе с зарешеченными окнами. Сидя рядами на скамейках, мальчики во весь голос повторяли за учителем и заучивали наизусть непонятные фразы на иврите. Иногда мы больно пинали друг друга ногами и запускали в комнате бумажные шарики, и тогда старик-учитель, подняв дрожащей рукой трость, в ярости устремлялся на нарушителей спокойствия. Я сидел на самом краю длинной деревянной скамейки и думал о том, что это в сто раз хуже, чем школа. Мне смерть не хотелось учить всю эту закомуристую ерунду, мне не хотелось стать, как выражались взрослые, настоящим евреем, мне не хотелось носить эту уродливую серую шапочку, мне не хотелось бегло тараторить на иврите, как некоторые старшие мальчики. Но у меня не было выбора, поэтому я покорно склонялся над книгой и медленно разбирал все эти *алеф* и *бет* чужого языка.

### 3. «Называйте меня дядя Солли»

Мать засунула комок тряпок за переднюю часть корсажа и сделала из них у себя на груди два холмика. Вид у нее был озабоченный и решительный — такой же, как когда она своими искусными руками примеряла на клиентке платье, зажав в зубах дюжину булавок. Она ушипнула себя за щеки и осмотрела в зеркале покрасневшую кожу. Я тихо двинулся прочь, но мать краем глаза увидела меня в уголке зеркала.

— Ах ты, любопытный! — воскликнула она смущенно. — Ну, чего глазеешь? Марш отсюда! Иди во двор и играй там с другими детьми.

И она захлопнула дверь. Я стоял в коридоре, сжав кулаки. В окне, выходящем на хмурый двор, сгустились сумерки, и сквозь разбитый уголок стекла задувал ветер, пахший кошачьей мочой и гнилыми овощами.

— Мне не с кем там играть! — прокричал я в закрытую дверь, а затем жалобно заныл. — Мне холодно, я хочу есть, у меня в груди болит...

Ну и пусть она страдает!

Дверь отворилась (я знал, что так и будет), и я вошел в комнату, стараясь выглядеть как можно несчастнее.

— А ну, покажи язык! — приказала мать, поворачивая меня лицом к свету.

Затем она стащила с меня рубашку, осмотрела мне грудь, нет ли на ней сыпи, потом спину.

— Ты сегодня ходил по-большому?

Я подумал, что если я солгу, мне, может быть, грозит касторка, и неохотно сказал:

— Да.

Моя мать облегченно вздохнула, но тут же застонала и снова начала причитать.

— Ну, так что с тобой вдруг приключилось, что?  
— спросила она. — Ты говоришь, тебе плохо? И вид у тебя постный, а вчера ты написал в постель.

— Неправда, это не я! — закричал я в негодовании. — Это Пинни.

— И Пинни тоже, — отрезала мать. — Двое таких больших мальчиков, одному восемь, другому девять, а писаются в постель, им лень ночью сходить на горшок.

Мне было очень неловко: мать голосила так громко, что, небось, все соседи слышали.

— Нет, нет, нет! — заорал я, и тогда она схватила меня за ухо.

— Не кричи на свою мать! Ты что, хочешь меня раньше времени в гроб свести, да? Может быть, послать тебя в еврейский приют, как мне все советуют? — Эта мысль так ее взволновала, что она крутнула мне ухо. — Прошлую ночь я до трех часов спать не ложилась, заканчивала платье для Лили Фишер, а ведь я тоже живой человек.

Ухо у меня болело, и сердце — тоже. Я расплакался.

— Ну, ладно, ладно! — сердито воскликнула мать и высморкалась.

Потом она вынула из банки печенье и дала мне.

— Не понимаю, Мэнни, что это с тобой вдруг ни с того, ни с сего стряслось, просто не понимаю...

В это лето мы стали сиротами — трое моих братьев и я. Наконец-то пришли вести об отце — через восемь лет после того, как он уехал назад в Россию вместе с группой других бедолаг-евреев, которые оказались перед выбором — сражаться на западном фронте или служить в царской армии — и нехотя выбрали второе. Вскоре после того, как они вернулись в Россию, большевики там взяли штурмом Зимний дворец, и по нашему перенаселенному ист-эндскому дому задул сибирским холодом ветер революции. Время от времени из России приходили письма с

просьбами прислать то теплые вещи, то продукты, то семейную фотографию. Как-то всех нас, одев по-праздничному, повели в фотоателье, и там мы, взявшись за руки и тревожно окаменев, уставились на человека, который накрыл себе голову черной тряпкой. Может быть, мой отец так и умер с этой фотографией в нагрудном кармане, но об этом уже никто никогда не узнал, потому что письма от него вдруг перестали приходить.

А затем несколько человек вернулись из России обратно в Англию — и среди них наш старый друг Ройтман; приехав в Лондон, он тут же устроил у себя на квартире на верхнем этаже разгульную вечеринку. Пока все остальные пили бренди и во весь голос лихо распевали песни, Ройтман отвел мою мать в сторону и о чем-то с ней зашептался, положив ей руку на плечо. Тем временем миссис Ройтман увела нас на кухню и накормила хлебом с корицей, теплым, прямо из печи. Потом она по очереди прижала нас к своей вздымающейся груди и произнесла благословение на идиш. Внизу в нашей затемненной комнате висел на стене мой таинственный отец; и вот тут-то я понял, что он уже никогда не возвратится из России.

Примерно в это время мы впервые услышали фамилию Пайский: ее произнесла наша соседка миссис Бенджамин, когда она однажды сидела у нас в гостиной, задумчиво жевала черный хлеб с коркой, натертой чесноком, и гулко прихлебывала чай с лимоном. Миссис Бенджамин была шумливая добрая женщина, она очень хорошо ко всем нам относилась, и ей не нужно было, как моей матери, увеличивать себе бюст: груди у нее начинались пузырями под мышками и ложились на живот, как подушки. Она всегда всюду вносила оживление. Я сидел в ногах у женщин и слушал, довольный тем, что меня не прогоняют и позволяют присутствовать при разговорах взрослых.

— А что плохого можно сказать про Пайского? — кипятилась миссис Бенджамин. — Что он, пьяница, паралитик, что у него, деревянная нога, что?

Моя мать сказала:

— Без такого сокровища, как Пайский, я-таки да могу обойтись, слава Богу.

— Да тебе же двадцать девять, да у тебя же четверо детей, чтоб их оберегло от дурного глаза! Ты что, хочешь еще восемь лет прожить без мужчины? И что тебе надо и что?

— Мэнни, — резко сказала мне мать, — пойди куда-нибудь и поиграй.

Я громко хлопнул входной дверью, притворившись, что ушел, а потом на цыпочках прошел в соседнюю комнату, залез там под диван и затаился: в темноте я слышал так же хорошо, как кошка видит.

— Пайский — ведь это же *мешуга*, он как раз для тебя, — наставительно сказала миссис Бенджамин. — Он же возьмет твоих четверых мальчиков, как собственных сыновей. Он же такой драпировщик, какого во всем Лондоне только поискать! Да спроси хоть моего Сэма. Ты что, или ты ждешь, чтобы к тебе посватался Рудольф Валентино?

Из живота миссис Бенджамин вырвался какой-то странный клокочущий звук, и она многозначительно икнула.

— Послушай, Роза, ведь я для твоей же пользы говорю.

И вот однажды в субботний вечер, вместо того чтобы уложить нас всех спать, мать отмыла и отскребла нас до того, что мы стали такими чистыми, какими сроду не были, надела на нас свежеотглаженные белые рубашки и вельветовые гольфы, повязала нам галстуки и повела наверх к Ройтманам. Там играли в карты; на плюшевой скатерти громоздились кучки медных монет, среди которых иногда поблескивало серебро. Мужчины сидели вокруг стола в подтяжках и в картежном угаре обливались потом, выкладывая иной раз аж по пять шиллингов зараз. В другом углу комнаты собрались женщины и дети, они разговаривали и весело смеялись, словно им там

не было дела до того, кто выиграет и кто проиграет. Какой-то младенец сосал материнскую грудь, он то и дело выпускал сосок и начинал скулить; из соседней комнаты доносилось испуганное кряканье ройтмановской утки, которая будто догадывалась, что вскоре ей предстоит расстаться с жизнью и быть съеденной.

Когда мы вошли, невысокий толстый мужчина в очках в блестящей золотой оправе вдруг побледнел, поперхнулся и оторопело выпятился на мою мать. Какое-то неясное предчувствие подсказало мне, что это и есть Пайский. Я вцепился в руку матери. Тут к нам, поглаживая свои пушистые усы, подошел Ройтман. В воздухе запахло порохом.

— Ну, ты видишь, чудесная семья! — пробасил Ройтман. — А эти четверо — да ведь это же орлята! Львята! Да ты будешь стараться хоть сто лет, а таких парней не сделаешь!

Моя мать, пренебрежительно выпрямив спину, прошла в другой угол комнаты и уселась рядом с миссис Бенджамин. Пайский остановил нас и вымученно улыбнулся. В провале рта у него блеснул золотой зуб.

— Ну, *киндер*? — спросил он, непонятно что имея в виду. — Ну, как?

Мы вместе взглянули на него без всякого выражения; на лбу у нас выступили капельки пота. Ройтман шлепнул Пайского по спине и закричал:

— А ну, покажи им, Берл! Покажи им, какое у тебя доброе сердце!

— Кто меня поцелует, получит шесть пенсов! — сказал Пайский. — Ну!

Он вынул монету и завлекательно помахал ею в воздухе.

Мой старший братец Эйби схватил монету и чмокнул Пайского в щеку плотно сжатыми губами. Младший из всех нас, Брани, побежал и укрылся за материнской юбкой. Тогда Пайский вынул другую монетку и указал на свою противную жирную щеку:

тут во мне началась внутренняя борьба между жадностью, отвращением и каким-то невольным возбуждением. Пайский с надеждой во взгляде наклонился к Пинни, но тот оказался неподкупен и отрицательно затряс своей ангельской головкой, а потом застенчиво улыбнулся и залез под стол, где удобно уселся среди ботинок играющих в карты мужчин.

— Шиллинг! — провозгласил Пайский. — Целый шиллинг!

Стекла очков увеличивали его близорукие глаза, и я вспомнил, как о нем отозвалась миссис Бенджамин; Пайский и вправду был *мешуга*, то есть псих, теперь мне это стало ясно, как день. Меня передернуло, и я сказал:

— Нет, мистер Пайский, большое спасибо.

Вежливость моя была нарочито театральной, так как я уже понял, что на нас во все глаза смотрит публика. Игроки повернулись на стульях, женщины подталкивали друг друга, стараясь не расхохотаться.

— Дайте мне! Дайте мне! — разом крикнули Пайскому несколько детей.

Шум взбудоражил утку в соседней комнате, и она стала отчаянно биться клювом в стены и дверь.

Пайский растерянно огляделся кругом и, чувствуя себя в ловушке, снова обернулся ко мне.

— Ну, а два шиллинга? — простонал он, рукавом рубашки вытирая со лба пот. — Ты сможешь купить столько шоколада, что, может быть, ты будешь *ганце* месяц болеть животом, Боже упаси от этого!

И когда я уже не в силах был противиться искушению и, опустив глаза, двинулся вперед, чтобы отпустить Пайскому полагающийся с меня поцелуй, меня остановил один из мужчин.

— Полкроны, если ты его *не* поцелуешь! — сказал он.

Это был высокий мужчина с густой, тщательно уложенной шевелюрой и усиками, как у Чарли Чаплина; на нем был изящный твидовый костюм и начищенные до блеска ботинки из бычьей кожи. Его

звали Солли Леви, но все его называли Солли-Англичанином; и в таком обществе, как наше, действительно странно было видеть человека, который говорил по-английски чисто, без иностранного акцента.

Я взял полкроны. Пайский покраснел и взглянул на мою мать, но она его словно бы даже и не видела. Она во все глаза смотрела на Солли-Англичанина, и на лице у нее было какое-то необыкновенное выражение, какого я в жизни не видел.

Когда мы вернулись домой, она шлепнула меня по мягкому месту за то, что я взял деньги у незнакомого дяди, и я вынужден был скрепя сердце поделиться своей добычей с братьями. И, отдавая каждому из них его долю, я шлепал его по мягкому месту, и, по-моему, это было справедливо.

После этого Пайский стал время от времени приходить к нам в гости. Обычно он стучал в дверь, неслышно вплывал в квартиру и спрашивал:

— Миссис, вы не заняты?

Мать еще усерднее начинала крутить ручку своей швейной машины, а Пайский молча таращился на нее и, когда надо было, спешил подать ей ножницы, или катушку ниток, или цветной мелок. Приходя к нам, Пайский всегда приносил какой-нибудь подарок: то пачку русской халвы, то коробочку пудры, то надувные воздушные шары всех цветов. Мать благодарила его и при этом вздыхала.

— Не нужно было этого делать, мистер Пайский, — говорила она.

— Ну, что вы, что вы, миссис! — отвечал он. — Это же мое удовольствие!

Когда они стояли рядом, Пайский приподнимался на цыпочки, чтобы казаться выше ростом, но все равно доставал моей матери разве что до кончика носа.

Как-то миссис Бенджамин сказала:

— Послушай, Роза, уж пожалела бы ты его, что ли! Он же ведь страдает!

А моя мать возразила:

— Если бы он перестал приходить, это была бы для меня *мицва*. Уж чего я не могу чувствовать в своем сердце, так того я-таки да не могу чувствовать.

И как-то вечером разразился ужасный скандал. У Ройтманов была какая-то вечеринка, и поэтому нас уложили спать раньше обычного. Когда я услышал, что моя мать вернулась от Ройтманов, в ее голосе было что-то такое, что заставило бы меня проснуться, даже если бы я уже крепко спал. Но я не спал, а прислушивался, как она в соседней комнате в тихой панике повторяла:

— Пожалуйста, мистер Пайский! Пожалуйста! Ведь дети же спят! Уходите, мистер Пайский, пожалуйста, уходите!

Затем послышалось сопение и стоны, будто выла больная собака.

Я разбудил Эйби, а при этом проснулись Барни и Пинни. Верно говорила миссис Бенджамин: Пайский и вправду был псих.

Я приоткрыл дверь и сквозь щель заглянул в гостиную.

— Роза! Рóзале! Ой, Рóзале! — задыхаясь и пытая, хрипло стонал Пайский, обеими руками сжимая моей матери руки.

Очки в золотой оправе сползали ему на кончик носа, жалкие остатки набриолиненных волос, обычно тщательно расчесанных на пробор, теперь растрепались и беспорядочно торчали по обе стороны круглой лысой макушки, и все это придавало бородавчатому лицу Пайского еще более глупый вид.

Мы выскочили в гостиную и стали все вчетвером колотить Пайского по толстому задку, визжа и призывая на помощь. На крики сбежались соседи. Ройтман, вполголоса ругаясь, схватил Пайского за воротничок и попытался оттащить от моей матери, но тут раздался треск рвущейся материи, и воротничок остался в руке у Ройтмана; это было похоже на зловещий звук, который раздается, когда евреи, поте-

рявшие близкого родственника, рвут на себе одежду, — и женщины начали всхлипывать.

— *Швайг!* Тише! — страшным голосом заорал Ройтман. — Ну, Берл, пойдем! — добавил он, уже гораздо спокойнее.

Огромные груди миссис Бенджамин вздымались в сочувственных конвульсиях.

— Стыдно, Роза! — пробурчала она с мягким упреком в голосе. — И не думай, что ты тут так-таки и ни при чем. Ладно, Сэм. Пойдем уже, тут все *беседер*.

Мистер Бенджамин недоуменно пожал плечами и последовал за женой. Мы услышали, как они протопали по коридору, и наступила тишина — жуткая тишина.

После того, как все ушли, в квартире остался только один человек — Солли-Англичанин.

— Все в порядке, ребята, — сказал он нам. — Можете идти спать.

Он закрыл за нами дверь спальни. Через несколько минут мы услышали, что мама перестала плакать. Я лежал в постели и глядел на желтый свет уличного фонаря за окном; в конце концов он расплылся в бесформенное пятно и исчез.

В это лето то и дело до меня доходили намеки, которых я не мог понять. По вечерам я часто лежал в постели, пока ночная чернота не голубела у меня в глазах, и прислушивался к доносившимся с улицы обрывкам разговоров — обрывкам, напоминавшим куски фраз на клочках разорванной газеты, которую ветер гонит по тротуару. Это были беспокойные, тревожные вечера и ночи. Как-то я проснулся потому, что у меня вдруг часто-часто забилося сердце, и когда мама взглянула на меня сквозь открытую дверь из-за своей швейной машины, лицо у нее было, как у ведьмы. А поздно ночью — всегда поздно ночью, — когда мы, дети, уже крепко спали, что-то во сне стучало нам в мозг.

После того вечера, когда случился скандал с Пайским, Солли Леви зачастил к нам. Он был совсем не такой, как остальные мужчины в нашем доме или даже на всей нашей улице — толстобрюхие портные, нажившие себе сутулость за долгие годы, потому что они с утра до ночи горбились над своим шитьем, или медлительные, степенные столяры, или меховщики, которые в любую погоду чихали и кашляли. Солли Леви был еврей совсем другого рода — наполовину голландец, он не говорил ни по-русски, ни на идиш, но зато был красив и изящен, как принц Уэльский. Когда он появлялся на улице, небрежно постукивая тростью, женщины замолкали, а когда он проходил мимо, начинали перешептываться. По профессии он был всего лишь механик, но когда-то он служил в полку Королевских Стрелков, а потом работал администратором отеля в Иоханнесбурге. Он умел ездить верхом, ему довелось убивать немцев в битве при Галлиполи и во Франции, он занимался в Южной Африке поисками алмазов, — и с таким же небрежным видом, с каким он сейчас дефилировал по Фуллер-стрит, он тогда ходил среди кафров по южноафриканскому вельду.

В субботние вечера Солли Леви уводил мою мать из дому, и они, не обращая внимания на сплетни, шли в роскошный кинотеатр «Палас» на Бетнал-Грин-род. Солли был на два года моложе мамы (ему стукнуло двадцать семь), и все вокруг говорили, что, как видно, либо у него не все дома, либо у него гнусные намерения, — а иначе с чего бы это такому парню вздумалось приволакиваться за вдовой с четырьмя малыми детьми на руках? А тем временем моя мать, работая, напевала украинские песни, и в голосе у нее звучала сладкая грусть. Часто она подолгу молча глядела в окно и при этом вздыхала и улыбалась своим мыслям. Почему-то она перестала зажигать субботние свечи, но все продолжала постоянно поминать Бога, и Солли, который называл себя вольнодумцем, тоже взял себе это в привычку.

— Как-нибудь мы съездим на море. — говорил он, — если Бог позволит.

— Позволит, а почему бы Ему не позволить? — отвечала мать. — Детям это будет очень полезно.

Как-то в теплый летний вечер, когда они вернулись с прогулки, Солли вошел в спальню посмотреть, спим мы уже или нет. Он дал мне и Эйби по шестипенсовику и сказал:

— Называйте меня дядя Солли.

Потом он сел с мамой на диван.

— Я ужасно люблю детей. — сказал он ей нежно.

— Я люблю их, как своих.

Последовало странное молчание, а потом мама встала и закрыла дверь в спальню. После этого дядя Солли приходил почти каждый вечер, а однажды он остался ночевать.

А потом мама сказала:

— *Кинделех*, дядя Солли — это теперь ваш папа.

Она обняла нас и вечером уложила спать в гостиной на разложенном диване. А утром мы увидели, как дядя Солли в пижаме бреется над раковиной. Он весело свистел и в шутку сделал выпад бритвой, потому что мы стояли вокруг него и пялили на него глаза. Он провел бритвой по щеке, проделав борозду в пышной пене, а потом стал осторожно манипулировать около носа, подстригая края своих усов.

— Ты теперь всегда тут будешь жить? — спросил Барни.

Ему было только шесть лет, и он еще ничего не понимал.

Дядя Солли ткнул себе в щеку помазком и улыбнулся.

Когда я в тот день воротился из школы, я заметил, что в квартире произошли кое-какие перемены. Фотография отца исчезла с привычного места на стене, и ее нигде не было. Я взобрался на стул и заглянул на шкаф. Фотография лежала там, изображением книзу, и с тех пор ее уже никогда не вешали на стену.

## 4. Урок географии

Во время перемены мы стояли под навесом, дрожа от холода в наших курточках из джерси. Дул пронизывающий ветер, порывами обрушивался дождь, а серое небо, — вернее, то, что от него можно было увидеть, — выглядело сморщенным и покоробившимся, точно бумага, вымоченная в грязной воде. Чем это, так уж лучше было заточить себя в классе; и мы мрачно ожидали звонка.

Шмулевич порылся в карманах и достал грязную карамельку.

— Только одна и есть, — пробормотал он, быстро сунул карамельку в рот и шумно засосал, а затем вытер нос рукавом.

Мне стало противно, и я двинулся к группе мальчиков, сгрудившихся вокруг Морри Шейна, который, когда у него заходились деньги, всегда целыми фунтами покупал сладости.

— Эй, Морри! — позвал я ласковым голосом.

По правде сказать, Морри мне вовсе не нравился. Его родители держали парикмахерскую на Бетнал-Грин-род, и он мазался бриллиантином — из-за этого от него еще хуже пахло.

Но Морри не обратил на меня никакого внимания. Он был чем-то очень возбужден, да и все мальчишки, собравшиеся вокруг него, — тоже.

— Заливаешь! — сказал Морри Шейну один из мальчиков, облизывая языком рот.

— Говорю тебе, я сам видал! — уверенно сказал Морри; у него дрожали губы.

— Может, спросим у Литти, — предложил кто-то.

— Он столько читал, все на свете знает.

— Ты думаешь, об этом пишут в книжках? — презрительно спросил Морри. — Четырехглазого и

спрашивать нечего. Он даже и титьки отродясь не видывал.

— О чем спор, господа? — высокопарно спросил я, снимая очки.

— Морри говорил про свою *шиксу*, — ответил Сидди Кравиц. — Она перед ним раздевается. Совсем голая.

— Ну, и что там такое у этой *шиксы*?

— Морри говорит, что у нее *книш* не спереди, а сзади — на попе. Она на нем сидит.

— Брехня! — взорвался один из мальчиков. — Зуб даю, у моей сестры ничего такого нет.

— А может, *шиксы* устроены иначе, чем еврейки, — возразил Сидди. — А как по-твоему, Лит?

(Сидди сидел со мной на одной парте и списывал у меня контрольные по математике, поэтому он уважал мое суждение).

— Религия тут ни при чем, — заявил я безапелляционным тоном. — У всех мальчиков и девочек все на одном и том же месте. Это закон биологии.

Морри пришел в ярость.

— Говорю тебе, я сам видал! — заорал он. — Спорю на сто фунтов, что это так! Да я могу спорить хоть на миллион!

К нам подскочил Шмулевич, и он тоже включился в спор.

— Да ты хоть знаешь, что такое *книш*? — презрительно спросил его Морри.

Шмуля растерянно заморгал.

— *Книш* — это то, что есть у девчонок, понял, дурак? — закричал Морри.

— Вот здесь, — сказал Шмуля и потрогал себя между ног.

— Хорошо, я вам покажу! — угрожающе сказал Морри. — Сами увидите.

Мы сгрудились вокруг него. Послышались голоса:

— Когда?

— Как покажешь?

— Слабо тебе!

Когда закончилась перемена и все мы вошли в класс, наш учитель мистер Паркер раздал всем учебники и атласы, и начался урок географии. Паркер стал скучным голосом рассказывать об Африке, время от времени исполвель подковыривая пальцем в своих волосатых ноздрях. За окном маячили фабричные трубы, которые выбрасывали в лондонский воздух клубы сажи, и в направлении станции Ливерпуль-стрит проносились поезда надземки: каждый раз, как мимо проносился поезд, в классе дрожал потолок. Я водил указательным пальцем по контуру Африки на карте и представлял себе львов, которые рыщут по джунглям. Неожиданно Паркер прошел на своих длинных, тощих ногах по проходу между партами и вытянул меня по спине своей тонкой тростью. Сидди Кравиц рядом со мной сжался и зажмурился.

— У меня и на затылке есть глаза! — выкрикнул Паркер мне в лицо.

Потом он повернулся к классу и шутливым тоном сказал, что мы можем читать учебник географии про себя, но не следует слишком внимательно рассматривать помещенные в учебнике фотографии обнаженных негритянских дам. Сказав это, Паркер обнажил в зловещей улыбке свои длинные зубы и вышел в коридор покурить.

Морри Шейн передал мне по рядам клочок бумаги. На нем было изображено что-то вроде расположенного вертикально глаза с продольной полосой сверху вниз, а под ним надпись: «Ты». Я скатал бумагу в комочек, обмакнул его в чернильницу и запустил в Морри: комочек угодил ему прямо в макушку. Морри бросил комочек обратно в меня, и скоро весь класс с упоением занимался этим спортом. Когда Паркер вернулся, веселье было в самом разгаре, и он с удовольствием прошелся тростью по шестерым из нас, в том числе и по мне.

Идя домой полдничать во время большой перемены, я думал о Морри и о его *шиксе*. Шейны были бо-

гатые люди, и эта *шикса* была у них служанкой, но мне не верилось, что она и вправду могла позволить Морри *рассматривать* себя без трусиков. Может быть, он подглядывал за ней украдкой, когда она принимала душ, или он просверлил дырочку в двери уборной: но никакая девочка не могла иметь *книш* там, где он сказал. Я ощупал себя пальцем и попытался вообразить себя девчонкой: но то, что утверждал Морри, все-таки казалось мне чем-то совершенно невероятным. Как раз недели за две до того к нам в квартиру принесли новорожденную девочку, и я видел, как моя мать меняла девочке пеленки, но все, что я успел рассмотреть, — это только что-то вроде узкой щели между пухленькими ножками.

День в школе продолжался долго-долго, и когда он, наконец, кончился, Морри Шейн попытался улизнуть. Он всегда был большое трешло. Мы погнались за ним — Сидди Кравиц, Шмулевич и я — и догнали его.

— Ты что обещал? сердито сказал Сидди.

— Я передумал, — ответил Морри и снова обратился в бегство.

Шмуля поймал его снова и стал выкручивать ему руку (это у нас называлось китайской пыткой), поэтому Морри передумал назад и сказал, что, дескать, ладно, он выполнит свое обещание, но только после обеда.

— Но это будет только на минуту, не больше, — предупредил он. — И не опаздывайте: мне нужно успеть на урок иврита, а то мой папан меня убьет.

Мы встретились на перекрестке в назначенное время. Шмулевичу пришлось взять с собой своего маленького братика в коляске, потому что его мать работала в вечернюю смену в рыбной лавке. Я весь дрожал под пронизывающей изморосью, но лицо у меня, несмотря на холод, горело.

— Я иду только потому, что Морри меня подначивает, — сказал я.

— Я тоже, — сказал Сидди: вид у него был жал-

кий и в то же время возбужденный.

Шел сильный дождь. Толкая перед собой коляску со шмулевичевским братцем и расплескивая грязь, мы рысцой понеслись по направлению к Бетнал-Грин-род. Лавируя с коляской между грузовиками и автобусами, мы пересекли улицу и оказались перед «Мужским парикмахерским салоном Шейна». В такую погоду здесь было тихо и безлюдно. Мужчина в мясницком переднике сидел на стуле у стены и читал еврейскую газету, ожидая своей очереди, а тем временем старик Шейн соскреб бритвой мыльную пену с подбородка тучного клиента, обдал редкие волоски на его розовом черепе патентованным восстановителем волос фирмы «Леви» из цветной бутылочки с пульверизатором и растер клиенту лицо полотенцем.

Морри повел нас к черному ходу; вид у него был сконфуженный.

— Хочешь, я тебе дам на время свой конструктор? — спросил он вдруг негромким голосом.

— Нет, — прошипел Шмуля. — Я хочу увидеть то, о чем ты говорил: *шиксу*.

К нам подошла шейновская кошка, она вкрадчиво потерлась о ногу Морри. Он поднял ее и погладил по пушистой шерстке.

— Смотри, — сказал он, — вот тебе доказательство.

Он поднял кошке хвост и, надеясь, что мы этим удовлетворимся, ткнул пальцем в щель у нее в зад.

— Мы что, для того мокли тут под этим чертовым дождем, чтобы рассматривать кошачьи жопы? — возмутился Шмулевич. — Это я мог бы и дома сделать.

— Видишь ли, — сказал Морри, — я не знаю, дома ли сейчас Джинни или нет.

Сидди Кравич толкнул Морри в бок.

— Так пойдем поглядим.

Мы поставили коляску в подъезде и, фыркая от смеха, на цыпочках пошли следом за Морри вверх по лестнице.

— Слушайте, да перестаньте же вы галдеть! — отчаянно зашипел Морри. — Это здесь, в мезонине!

Дойдя до двери, он поколебался, но потом робко постучал.

— Джинни, ты здесь? — позвал он. — Джинни, это я — Морри.

— Мотай отсюда! — донесся из-за двери отчетливый женский голос. — Я занята.

После того, как Морри обменялся с Джинни еще несколькими репликами, дверь все-таки отворилась, и Морри был допущен внутрь. Мы выползли из нашего укрытия и на цыпочках двинулись к двери. Сидди Кравиц дошел до нее первым; он опустился на одно колено и прищелкнул глазом к замочной скважине.

— Ну, ты что-нибудь видишь? — прошептал Шмуля.

— *Шшш!* — сказал Сидди.

Сквозь дверь мы слышали голос Морри.

— Джинни, сделай то, что ты делала в прошлый раз, — сказал он умоляющим голосом.

В ответ раздался женский смех.

— Не понимаю, о чем ты.

— Ты знаешь.

— Хватит! Это нехорошо. Я скажу твоему папе. Шмуля ужасно разволновался.

— Дай мне! Теперь моя очередь! — зашептал он и стал отталкивать Сидди.

После короткой потасовки Сидди уступил Шмуле-вичу свое место у скважины.

— Я вижу кровать, — радостно сообщил Шмуля.

— Было бы лучше видно, да этот дурак Морри все заслоняет.

Девушка внутри снова засмеялась. Я опустился на коленки, ободрав их о грубый дощатый пол, но ухитрился тоже заглянуть в комнату. Я увидел стену, оклеенную облезлыми обоями в пестрых цветочках, а у стены — кровать; на краю кровати сидела тощая девица лет шестнадцати, она похотливо улыбалась.

— Ну, так кто твоя дорогая? — издевательским тоном спросила девица.

Морри застонал.

— Тогда я ничего не буду делать. Скажи — и скажи как следует, ласково. Кто твоя дорогая?

— Ладно, — сказал Морри, заскрежетав зубами. — Ты.

— Я — кто?

У меня необъяснимо защекотало в груди. В комнате произошло какое-то странное движение, и неожиданно мне в глаза блеснул кусок голой плоти.

— Сделала!

Я был восхищен и слегка напуган.

Шмуля оттолкнул меня в сторону: ему тоже хотелось посмотреть. С минуту он напряженно вглядывался в скважину, а потом сказал — разочарованно и сердито:

— Да это же Моррино колено!

Я прыснул, и он ткнул меня в бок, но потом и сам захихикал; Сидди попытался нас утихомирить, но наше веселье заразило и его, и скоро мы все трое покатывались от хохота.

Неожиданно дверь отворилась, и на пороге появилась *шикса*, и она вовсе не была раздета. Мы кубарем скатились вниз по лестнице, схватили Шмулину коляску и выскочили под дождь. Старик Шейн выбежал из парикмахерской с бритвой в руке, изрыгая проклятия на идиш. Мы пустились наутек и мчались без передышки аж до самого Брик-Лейнского рынка, который в этот час был запружен вечерней толпой. Капли дождя шипели на лигроиновых жаровнях, и порывы ветра хлопали парусиновыми тентами над ларьками. Нам больше не было смешно.

— Так-таки мы ни фи́га и не увидели, — уныло сказал Сидди Кравин и вызывающе посмотрел на нас. — А будь я на его месте, я бы, черт с ней, сказал ей «дорогая». Просто, чтоб посмотреть.

Шмулевич озабоченно отвел свою коляску к краю тротуара. Когда мы двинулись дальше, он поднял не-

промокаемый полог коляски и показал нам несколько яблок, лежавших между пухлых ножек его брата.

— Кое-что упер, — сказал он с глубоким удовлетворением в голосе.

## 5. Борьба за Менделя Шаффера

Мендель Шаффер жил в нашем доме в квартире на третьем этаже вместе со своей бабушкой и жильцом мистером Шульбергом, инкассатором Еврейского погребального общества — маленьким толстым человечком с вечно встревоженным выражением лица. Отец Менделя Шаффера, как и мой, уехал в свое время обратно в Россию, а мать Менделя сбежала в Америку с литовцем-портным: случилось это так давно, что в мое время ее срамное поведение стало уже всего лишь скандальной легендой. И поэтому не было на всей нашей улице такой *идише мамэ*, которая не таяла бы от жалости к бедному сиротке Менделю и не пыталась бы всучить ему что-нибудь сладкое или вкусное, когда он, опустив глаза, проходил мимо, стараясь казаться как можно незаметнее.

Мендель был тихий, прилежный мальчик, ужасно серьезный. — Наверно, оттого, что он жил с одними лишь взрослыми. Его бабушка, беззаветно ему преданная, мечтала, чтобы он стал ученым-талмудистом, или музыкантом, или врачом. И эти ее честолюбивые мечты все принимали всерьез, потому что Мендель и вправду был на редкость умный и способный. Соседи с одобрением говорили, что у него «голова старика на плечах мальчика»; а уж как он играл на скрипке, так это было: «О! Просто, как ангел!» А ведь научился он играть сам, никто никогда не давал ему никаких уроков. Его приглашали играть на разных еврейских празднествах, и он извлекал из своей скрипки проникновенные, пронзительные мелодии, так что женщины начинали хлюпать в носовые платки. История о том, как Мендель получил скрипку, сделалась в нашем квартале чем-то вроде народного предания. Менделева бабушка выторгова-

ла эту скрипку у старьевщика в обмен на прохудившийся медный самовар. Она принесла скрипку домой, тщательно ее отполировала и вручила Менделю.

— Играй, Мендель, — сказала она просто.

С тех пор Мендель играл на скрипке.

Но больше всего он любил читать — особенно разные энциклопедии. Ему нравилось ошарашивать нас самыми неожиданными сведениями. Именно Мендель впервые сообщил мне, что у царя Соломона было семьсот жен и триста наложниц, что самка-богомол в брачном иступлении пожирает своего напарника, что в китайском алфавите насчитывается более сорока тысяч знаков — и разные другие необыкновенные вещи, которые вонзились мне в мозг, как буравы, и застряли там, как шины. Мендель пытался каждый день выучить несколько таких ошеломляющих факторов — отчасти, мне кажется, потому, что в наших повседневных мальчишеских беседах ему больше нечем было блеснуть, а он тоже хотел чем-нибудь выделиться.

Бабушка Менделя зарабатывала на жизнь тем, что изготовляла бутоньерки. Работала она дома, за рабочим столом, поставленным в спальне. — там же, где Мендель днем читал и упражнялся на скрипке, а по ночам спал под шипящим газовым рожком и видел во сне разные удивительные вещи, вычитанные в энциклопедии. Два раза в неделю, по вечерам, к нему приходил учитель иврита Зускинд, живший в подвальном помещении на Кербела-стрит, и давал мальчику частные уроки Танаха. Закончив урок, Зускинд вместе с бабушкой и мистером Шульбергом садились пить чай с лимоном, и за чаепитием он называл своего не по годам развитого ученика «маленьким раввином» и «вундеркиндом» и превозносил его превыше облака ходячего. Бабушка, затаив дыхание, слушала Зускинда и пересчитывала его похвалы, точно монеты у себя в кошельке, а Шульберг тем временем с присвистом прихлебывал чай и подтверждал

Зускиндовы панегирики энергичными кивками и восторженными гримасами.

У нас в квартале были, конечно, и другие умные и способные мальчики, и некоторые из них сейчас стали богатыми и прославленными людьми, но я не помню, чтобы с кем-нибудь носились так, как с Менделем. Он жил совсем иначе, чем живут дети его возраста. Пока все мы гоняли по улице в футбол или, как голодные волки, шныряли по рынку между фруктовыми ларьками, выискивая, где что плохо лежит, Мендель не мог на сто ярдов отойти от дома и хоть ненадолго избавиться от бдительной опеки своей восторженной бабушки. И охраняла она не только его тело, но и его душу. Она стремилась сохранить его безупречно чистым в глазах Бога, словно он был сыном самого Главного раввина.

Однажды душным летним днем — дело было, кажется, в какой-то еврейский праздник, — когда от каменных улиц Ист-Энда больше, чем обычно, несло одуряющим запахом перенаселенности и гнили, я слонялся, не зная, что делать, и выискивал себе какое-нибудь занятие. Мне захотелось пойти в парк «Виктория», но ведь не идти же туда одному, так что, отвергнув мысленно нескольких своих приятелей, я решил заглянуть к Менделю. Я чрезвычайно убедительно и долго — аж в горле пересохло — разглагольствовал о траве, о деревьях, о прохладной воле прудов, и в конце концов Мендель согласился попросить у своей бабушки разрешения отправиться вместе со мной. Но когда я через некоторое время зашел за ним, чтобы вместе бежать в парк, он понуро сидел на полу, а его лодыжка была привязана к ножке кровати какой-то бечевкой — до смешного тонкой. Из кухни, потев от волнения, на цыпочках вышел мистер Шульберг; он предостерегающе помахал у меня перед носом указательным пальцем и резво устремился к двери, явно обращаясь в бегство, дабы избежать какого-то домашнего скандала.

Я смущенно хихикнул. У Менделя дрожала ниж-

няя губа, и он глядел на меня, как на своего смертельного врага. После минуты-другой мучительных колебаний он отвязал себя от ножки кровати и встал: в этот момент в комнату вплыла бабушка, совершенно устрашающая в своем старомодном шаббате одеянии. Она сразу же установила в комнате атмосферу клаустрофобии и запах нафталиновых шариков. В ее взоре засверкал гнев Иеговы, и мне безумно захотелось поскорее унести ноги из этой благочестивой духоты и вырваться на языческий простор, залитый солнечным светом.

— Сяль! — резко приказала мне Менделева бабушка, указывая на старинный диван, набитый конским волосом и издававший тот же мертвящий запах, что издают изъеденные червями переплеты старинных молитвенников.

Мы с Менделем сели, опутив глаза, и старуха усталым, жалобным голосом прочла нам лекцию о том, что необходимо твердо блюсти нашу веру, быть примерными еврейскими детьми и помнить, как тяжело воспитывать безотцовских сирот во враждебном мире. Пока она нам выговаривала, Мендель с недовольным видом скреб носком ботинка выпуклый линолеум. Закончив свои нотации, бабушка взяла его лицо в ладони и сказала:

— Не карай меня, Мендель. Долго ли еще мне осталось жить?

Он заплакал. В тот момент я подумал, что Менделя расстроила мысль о бабушкиной смерти, но теперь, когда я оглядываюсь назад, мне кажется, что он заплакал не поэтому, а потому, что, ощутив у себя на лице ее грубые, потрескавшиеся руки, он вспомнил, как много и тяжело она работает, чтобы прокормить его и себя.

Когда я уходил, бабушка была сама доброта: она называла Менделя своим *фейгеле*, своей птичкой.

Как раз в это время возвратился домой отец Менделя — высокий, болезненного вида мужчина с огромным крючковатым носом, который торчал из

его изможденного лица, как клюв. Все дети, жившие в нашем доме, были в тот момент на улице, они бежали, играли, визжали; и тут он, прихрамывая, появился на улице — обтрепанный, с солдатским ранцем за плечами. Он проковылял мимо калякающих женщин и хнычущих младенцев — устало, безучастно, как ковыляют солдаты на марше после того, как они долго-долго отступали. В его глазах застыл какой-то лихорадочный блеск, и мы почувствовали себя ужасно неуютно, когда он остановился и начал нас пристально разглядывать, и взгляд его с сомнением переходил от одного мальчишеского лица к другому. Затем он увидел Менделя, облокотившегося о подоконник первого этажа и погруженного в чтение. На тощей шее Менделева отца судорожно зашевелилось адамово яблоко. Затем он обнял ошеломленного Менделя и несколько раз поцеловал, и из горла у него вырвались какие-то хриплые звуки, которые, должно быть, означали радость. Мы все стояли вокруг и бесстыдно пялили на них глаза. Женщина, сидевшая на кухонном стуле у своего подъезда, закрыла лицо передником и стала тихо всхлипывать. Огорошенный этой неожиданной лаской, Мендель высвободился и недоверчиво посмотрел на незнакомца. Затем они оба вышли из полосы солнечного света и скрылись в полумраке подъезда.

Мистер Шаффер отпраздновал свое возвращение без излишнего шума. Скоро стало ясно, что он не такой уж общительный человек — со всеми, впрочем, кроме детей. Детей он любил безумно. Вместо того, чтобы пригласить своих соседей на вечеринку, он наметал целый бидон мороженого и стал угощать всех детей в округе, и когда они по одному подходили за даровым угощением, он улыбался и взъерошивал каждому волосы. После этого каждый вечер из его квартиры доносились звуки Менделевой скрипки. На какое-то время Мендель стал местной знаменитостью. Он завоевал среди нас широкую популярность, рассказывая о захватывающих приключениях своего

отца, когда тот был солдатом русской Революции: о том, как он ел крыс, чтобы не умереть от голода, и как он отморозил и потерял два пальца на ноге, и как он провел несколько лет в сибирской ссылке за какие-то политические прегрешения.

Но вскоре эта сенсация всем приелась и перестала быть сенсацией. Отец Менделя сделался просто мистером Шаффером, столяром-краснодеревщиком, который по утрам уходил на работу и по вечерам возвращался домой точно так же, как все остальные взрослые. Люди судачили, позволяют ли теперь мистеру Шульбергу из Еврейского погребального общества остаться в перенаселенной шафферовской квартире и не обратится ли мистер Шаффер к свату, чтобы подыскать себе новую жену. Но вскоре стало известно, что мистер Шаффер разрешил мистеру Шульбергу до поры до времени оставаться в квартире и делить с ним широкую кровать, на которой он когда-то спал со своей бежавшей женой: и все согласно решили, что со стороны мистера Шаффера это необыкновенно великодушно, потому что мало кому захотелось бы терпеть у себя в квартире человека, профессионально связанного со смертью.

Вот так, вдруг, неожиданно-негаданно обзавестись отцом — это для мальчика могло быть ужасно или же замечательно. Для Менделя это оказалось замечательно. Очень часто можно было видеть, как отец и сын, держась за руки, гуляют по шумным улицам Ист-Энда, всецело погруженные в свои беседы, точно вокруг них никого не существовало. Они вместе ходили в музеи, в парки, в картинные галереи, осматривали Тауэр и колонну в память о Великом пожаре, наблюдали смену караула у Бэкингемского дворца — то есть ходили повсюду, куда мистер Шаффер годами мечтал сходить вместе с сыном, когда он голодал и холодал в далекой России. Если Мендель был счастлив, то его отец был просто на седьмом небе. Однажды в воскресенье я случайно встретил их на рынке: они стояли, совершенно осле-

пленные громоздившимися вокруг них горами спелых фруктов, рядами боченков сельди, бесконечными связками сочных, восхитительно пахнущих сосисок. Они глядели на все это изобилие — и на лотки, заваленные разноцветными тканями и свеженахнувшей кожей, — и в глазах у них, особенно у отца, был восторг, словно перед их ненасытным взором раскрылись все чудеса света. И видя, как Мендель снизу вверх приветливо улыбается высокому немолодому мужчине, можно было подумать, что Мендель — это отец, а мистер Шаффер — его сын.

Мендель изменился во всем. Раньше он был из тех мальчиков, которые бегают, как девчонки, выбрасывая ноги в стороны, и не умеют поймать мяч, быстро взобраться на штабель дров или прокатиться на колбасе грузовика. Чем больше Мендель старался, тем хуже у него все это получалось и тем неуклюжее он выглядел, и в конце концов он оставил бесплодные попытки и, когда другие дети играли, сидел себе и читал. Когда появился мистер Шаффер, он поглядел раз-другой, как его сын сидит в сторонке с книгой, и стал его убеждать принимать участие в общих играх. Коль скоро мистер Шаффер за нами наблюдал, мы старались не раздражаться и терпимее относиться к менделевой недотепистости. Это придало Менделю уверенности в себе; и хотя он все еще не мог тягаться с большинством из нас в ловкости и проворстве, он вскоре стал чемпионом во всех играх, которые требовали сообразительности, а не только физической заделки.

Тем временем по дому поползли слухи о том, что во всемье Шафферов начался какой-то разлад. Теперь, когда деньги на жизнь зарабатывал мистер Шаффер, он запретил старухе-бабке делать бутоньерки, и это ее так раздосадовало, словно он не облегчил ей жизнь, а наоборот, вырвал у нее изо рта последний кусок хлеба. Она была упрямая, своенравная, независимая женщина: ей, небось, судьбой было предначертано быть не мирной еврейской домохозяйкой, а предводитель-

ницей какого-нибудь дикого племени, и всю свою не-  
растраченную энергию она обратила на сироту Мен-  
деля. А теперь вдруг оказалось, что даже это вроде  
бы никому не нужно. Соседям все чаще и чаще слу-  
чалось наблюдать, как мистер Шульберг в паниче-  
ском страхе стремительно выскакивает из шаффе-  
ровской квартиры. Женщины останавливали его на  
лестнице и натужно, притворяясь, что им ни ка-  
пельки не любопытно, расспрашивали его о том, о  
сем, но мистер Шульберг обрывал их, ссылаясь на  
срочные дела и поспешно удалялся. И довольно скоро  
все в доме обнаружили, что яблоком раздора между от-  
цом и бабушкой была душа Менделя Шаффера.

Моя мать первые намеки на это слышала от меня.  
Как-то в дождливый вечер несколько мальчиков —  
в том числе и я — сидели у подъезда, глядя, как от-  
ражается свет уличных фонарей в мокрой мостовой:  
это навеяло на нас какое-то странное настроение фи-  
лософской меланхолии. В это время мистер Шаффер  
вернулся с работы: он устало помахал нам рукой, во-  
шел в подъезд и собирался уже было подняться к  
себе — он даже сделал несколько шагов вверх по  
лестнице, но вдруг остановился, вернулся об-  
ратно и почему-то без всякой видимой причины  
заговорил с нами о Боге.

— Никакого Бога нет, — сказал он.

Он помолчал, а потом добавил, яростно размахи-  
вая свернутой в трубку еврейской газетой:

— Бог — это чушь! Раввины и богачи твердят нам  
про Бога, потому что они хотят, чтобы мы, бедняки,  
знали свое место. — Его крючковатый нос был наце-  
лен прямо на нас, глаза яростно сверкали. — Дети,  
не тратьте время на чепуху! Изучайте науки, читайте  
книги, думайте о будущем! Мир принадлежит вам, а  
не Богу.

— Вот псих! — сказал кто-то, когда мистер Шаф-  
фер ушел.

За ужином я сказал матери, что мистер Шаффер  
не верит в Бога.

— Не может быть! — воскликнула она.

И, разумеется, в тот же вечер она поспешила рассказать об этом соседям.

Когда я в следующий раз увидел Менделя, я спросил его, почему его отец не верит в Бога. Мендель пожал плечами и, ничего не ответив, ушел.

В нашем квартале религия была чем-то вроде семейной реликвии, о которой можно было говорить иронически и двусмысленно, но которую все-таки полагалось беречь. Мужчины рассказывали друг другу язвительные анекдоты о раввинах, и когда что-нибудь шло не так, они обращались непосредственно к самому *Раббойне шель ойлем* (то есть к Властителю Вселенной) и попрекали его за то, что он не уготовил своему избранному народу более счастливой судьбы. Так уж принято у евреев. Со времен патриархов они обращаются со своим Иеговой довольно фамильярно.

Ну и были, конечно, у нас анархисты, коммунисты, бундовцы и социалисты-сионисты, которые открыто отрицали Всемогущего. Они дерзновенно курили в *шаббат* (правда, не на людях), и если ходили в синагогу, так только из уважения к своим покойным родителям или потому, что синагога у евреев — это просто-напросто место встреч, нечто вроде клуба. Что же до того, чтобы поститься в Йом-Кипур — Судный День, так это они делали лишь по той причине, что для здоровья полезно время от времени давать отдых желудку и устраивать себе разгрузочный день. Грехи тут были, разумеется, совершенно ни при чем.

Короче, для некоторых из нас в те годы Бог был все еще отцом и другом во враждебном мире, а для других — всего лишь опиумом для народа. Поэтому всех живо волновало, что же в конце концов будет с душой бедняги Менделя. Некоторые стали недовольно ворчать, когда увидели, что Зускинд, учитель иврита, больше не приходит к Шафферам давать мальчику частные уроки; а другие стали недовольно

ворчать, когда узнали, что Зускинд продолжает-таки тайком давать Менделю уроки у себя в подвале. Некоторые огорчились, когда мистер Шаффер в субботу богопротивно уехал куда-то вместе с сыном на трамвае; а другим не понравилось, что после этого бабушка, не теряя времени, поспешила к раввину и получила у него отпущение. Нет, не такая она была женщина, чтобы легко отказаться от борьбы за душу внука. За обедом за каждую молитву, которую Мендель не произносил при отце, бабушка произносила две. И по мере того, как в квартире появлялись атеистические книги, бабушка так же быстро относила их во двор и выбрасывала в мусорные баки. В синагоге, на галерее для женщин, стенания бабушки звучали громче, чем молитвы всего прихода.

Однако положение становилось чем дальше, тем хуже. Настал день, когда мистер Шаффер и бабушка перестали друг с другом разговаривать, и они обращались теперь только через мальчика. Мистер Шулльберг взял в обыкновение проводить вечера в кошерных ресторанах, где он мрачно размышлял о чем-то над стаканом чая с лимоном. Что же касается самого Менделя, то временами он казался таким грустным и одиноким, каким едва ли был кто-нибудь другой в нашем квартале. Он все еще радостно проводил время с отцом, но он любил и бабушку, и необходимость сохранять верность им обоим легла на него тяжелым бременем — это было заметно с первого взгляда. Но Мендель был не из тех, кто охотно рассказывает о своих переживаниях всякому встречному и поперечному, и терзавшие его заботы он повеял разве что своей скрипке, которая что ни день звучала под его смычком все жалобнее. Мне кажется, он искренне пытался соблюдать нейтралитет в той ожесточенной борьбе, которая велась за его душу. Сейчас, вспоминая прошлое, я понимаю, что Мендель жил своей собственной внутренней жизнью, заполненной страстными мечтаниями об одиночестве, — а такой душе для всего находится место.

Как раз тогда из нашего квартала уехали Слуцкие: они отправились в Америку. У Слуцких было восемь детей — почти все девочки, и в их двухкомнатной квартирке было так тесно, что дети спали на полу повсюду, даже под столом. Шестеро братьев Хаима Слуцкого жили в Чикаго, и каждый из них пожертвовал сто долларов на то, чтобы помочь Слуцким переехать в Америку. Через день после их отъезда в их опустевшую квартиру въехал меховщик Крамер с женой, двумя детьми и незамужней сестрой по имени Фрида.

В такой тесной общине, как наша, каждый новоприбывший чем-то усложнял нам всем жизнь, так что с появлением любого нового человека все мы немного менялись, и даже весь наш стиль жизни иногда тоже менялся. Для Менделя Шаффера появление Фриды Крамер оказалось поворотным моментом в жизни. Фрида была темноволосая, подвижная, бодрая женщина двадцати шести лет; она приятным, грудным голосом пела сентиментальные песни, и она негромко смеялась, едва-едва раскрывая рот, чтобы скрыть отсутствие нескольких задних зубов. Если не считать того, что она была очень худая и крошечного роста, она выглядела довольно-таки милостливой, и скоро все стали замечать, что ей оказывает знаки внимания мистер Шульберг. У него была довольно лукавая манера смотреть на женщин, у этого мистера Шульберга. От отворачивал голову, наклонял ее и прикрывал глаза, словно он спит, но из-под опущенных век внимательно разглядывал женщину, замечая мельчайшие подробности, как будто смотрел в бинокль. Тем не менее никто никогда не мог с уверенностью сказать, насколько серьезны намерения мистера Шульберга относительно мисс Крамер, ибо прежде мистер Шульберг еще ни разу даже не подошел к даме, которую ему случалось одарить своим вниманием. Каждый раз, встречая объект своего восхищения, мистер Шульберг снимал свой потертый котелок и, расплываясь в улыбке,

прижимал его к груди, словно это был букет цветов, — но этим дело и ограничивалось.

Когда мистер Шульберг стал разглядывать в своей манере Фриду Крамер и отсалютовал ей котелком, она, казалось, была польщена, несмотря на то, что мистера Шульберга никак нельзя было назвать не только юношей, но даже человеком средних лет. И вообще его жесты могли с таким же успехом означать, что он собирается предложить ей купить заголя участок земли на кладбище. Поэтому внешние мисс Крамер оставалась холодно вежлива. Встречаясь с мистером Шульбергом и улыбаясь ему, она даже не давала себе труда как следует закрыть рот, так что он вполне мог заметить, что зубы у нее не в полном комплекте. Несмотря на все это, прогресс в их взаимоотношениях продвинулся в конце концов настолько, что кто-то из соседей увидел их вдвоем в кошерном ресторане, излюбленном ресторане мистера Шульберга: они сидели за столиком и оживленно друг с другом беседовали. Многие жители нашего квартала, решившие, что мистер Шульберг пытается совратить Фриду с пути истинного, были слегка шокированы, а иные откровенно скандализированы. Существует добрая сотня еврейских анекдотов о том, как старик ухаживает за молоденькой девушкой и что из этого получается, и все эти анекдоты сразу стали рассказываться применительно к мистеру Шульбергу. А когда стало ясно, что мистер Шульберг и в самом деле вроде бы влюбился, соседи вынуждены были признать, что он в конце концов не так уж и глуп.

Но после того дня, когда мистера Шульберга заметили с Фридой в кошерном ресторане, все семейство Крамеров стало демонстративно обхаживать Менделя Шаффера. Ему редко удавалось пройти мимо их подъезда, чтобы не получить чего-нибудь в подарок: миссис Крамер сразу же выбегала на улицу с ломтем штруделя, Фрида окидывала мальчика ласковыми взглядами, мистер Крамер совал ему шестипенсо-

вики в качестве платы за то, чтобы Мендель сбегал по какому-нибудь пустяковому и явно ненужному поручению, а крамеровские дети постоянно звали Менделя с ними поиграть. Все это действовало Менделю на нервы. Спускаясь по лестнице, он старался красться на цыпочках, но обычно его выдавала собственная неуклюжесть. А Крамеры, завидев Менделя, с быстротой молнии набрасывались на него, за-таскивали его к себе, вдвоем или втроем зараз чистили ему костюмчик, мазали йодом его ссадины и царапины, пичкали его сладостями... И он сдавался: а что еще ему оставалось делать?

И, конечно, неизбежно настал такой день, когда отец Менделя вышел разыскивать своего пропавшего сына, и его заманили в квартиру Крамеров. Естественно, он вынужден был остаться на чашку чая, великолепного, душистого, ароматного чая, сваренного самой Фридой, которая к тому же подала на стол восхитительные пирожные собственного изготовления. И, естественно, мистер Шаффер мог своими глазами увидеть, какая чудесная семья эти Крамеры, какие они все дружные и общительные и как у них в доме вкусно кормят. Мистеру Шафферу должно было стать совершенно ясно, что атмосфера, царящая в семье Крамеров, — это как раз то, что нужно одинокому, еще не старому мужчине. Мистер Крамер завел граммофон и поставил пластинку с русской цыганской песней (что доказывало, что Крамеры и искусству не чужды). Вскользь был обронен намек на то, что хотя мистер Крамер состоит в отдаленном родстве со знаменитой семьей раввинов Сотмарер, у него в последнее время появились кое-какие сомнения насчет религии... Великолепно! Так почему бы глубокоуважаемому мистеру Шафферу не заглянуть как-нибудь вечером на более долгое время, попить чайку и насладиться хорошей, умной беседой? Ну, хотя бы завтра!

Так родилась эта неоценимая вещь — дружба. Вернувшись с работы, отец Менделя умывался,

молча ужинал, просматривая за это время еврейскую газету, и слушал, как Мендель упражняется на скрипке. Через час или полтора он вставал и шел к Крамерам. Дверь ему обычно открывала Фрида: от нее пахло духами, и она улыбалась чарующей улыбкой, которая прибавляла ей скромности и убавляла присущего ей лукавства. В этой семье мистеру Шафферу было тепло и удобно, как в мягкой меховой шубе. Они беседовали о религии, о политике, о суровых зимах в сибирской тундре, а затем — сперва неохотно, а чем дальше, тем с большим пылом — о маленьком Менделе и о том, как его хитрая, злокозненная бабушка хочет сделать умного мальчика занудой-талмудистом. Кадык на шее мистера Шаффера судорожно двигался. А Фрида Крамер мазала его душевные раны бальзамом своего женского сочувствия. Домой мистер Шаффер возвращался в приподнятом настроении, отдохнувший и отвлекшийся от своих семейных тревог; и, конечно, очень скоро ему начала приходить в голову мысль о том, насколько лучше было бы, если бы рядом с ним на его широкой кровати лежала очаровательная Фрида, а не этот тучный мистер Шульберг, который ко всему прочему имел досадную привычку негромко храпеть.

В другом углу спальни, за ширмой, которая защищала дамскую скромность и к тому же предохраняла от сквозняка, спала бабушка, а рядом с ней — Мендель. У бабушки, наверно, тоже появлялись свои мысли, когда она прислушивалась, как жалобно скрипит кровать под ее зятем, беспокойно ворочающимся в темноте. Моя мать как-то мне сказала, что если ты умеешь молиться, Бог специально для тебя может сотворить чудо. Менделева бабушка молиться явно умела, но она не полагалась на одни только молитвы и не очень-то верила в чудеса.

Стало быть, прошло время, и, как можно догадаться, настал день, когда в еврейской газете появилось объявление о предстоящем бракосочетании Фриды Крамер и мистера Шаффера. Поколебавшись, ми-

стер Шаффер неохотно согласился на церемонию в синагоге. И когда он рядом со своей счастливой невестой стоял под *хупой*, серьезный и примолкший, как того требовала торжественность ситуации, он был одет, как и подобает добропорядочному еврейскому жениху, в тщательно отутюженный черный костюм, черную фетровую шляпу и белую рубашку с черным галстуком. И положенные звучные слова древнего языка он произносил точно так же, как и любой другой еврейский жених.

Брак — это всегда серия компромиссов. Мистер Шульберг съехал с квартиры, а Фрида переселилась к Шафферам. Она стала в *шаббат* зажигать свечи и соблюдать *кошер* почти так строго, как того хотелось бабушке. Здоровая, плодовитая женщина, Фрида стала часто беременеть, и когда мистеру Шафферу пришлось кормить уже не одного, а нескольких детей, он стал больше работать, и ему уже не до того было, чтобы заботиться о душе Менделя. Мендель продолжал играть на скрипке, но не мог делать это так часто, как раньше, потому что, играя, он будил своих братиков и сестричек, а это было нежелательно. И больше никого не волновало, играет он со своими сверстниками или нет. В те дни стали усиленно обзаводиться радиоприемниками, и все помешались на джазовой музыке.

## 6. Дядя Солли прожигает жизнь

Всю ночь мне снилось, что они ругаются, а на следующее утро дядя Солли вышел из спальни с кругами под глазами. В доме звенела и отдавалась эхом тишина погорелья, а воздух был такой горький, что обжигал и ранил легкие. Моя мать готовила завтрак с таким видом, словно совершала похоронный обряд, и когда она выдавала нам наши скудные порции, она глядела на нас со злорадной, нелоброй жалостью.

— Ешьте, ешьте! — прикрикнула она. — Слава Богу, пока у нас еще есть что поесть.

Солли осторожно примостился на краешке стула и украдкой положил что-то себе в рот, словно выполняя крайне неприятную обязанность только для того, чтобы не умереть с голоду. Он тяжело вздыхал, и на лице у него были написаны боль и раскаяние.

— Роза! — сказал он сдавленным голосом. — Клянусь жизнью своей матери, я этого не хотел!

Упала тишина, давящая и звенящая. Солли ждал ответа или хотя бы какого-нибудь знака. Но не дождался.

— Ты мне даже объяснить не даешь, — сказал он, и в голосе его прозвучала безнадежность.

Мать отвернулась к стене.

— Спросите его кто-нибудь, — сказала она безучастным голосом, — спросите его, что он может мне объяснить? Или его объяснениями я смогу заплатить за квартиру? Или на его объяснения я смогу купить кусок мяса? Что будут дети носить на ногах — ботинки или объяснения?

Она попыталась сдержать слезы, и поэтому у нее покраснел кончик носа.

Солли отодвинул стул и безмолвно, как осужденный преступник, вышел из комнаты. Хлопнула вход-

ная дверь, и минуту спустя мать резко встала и склонилась над газовой плитой. В горле у нее послышались какие-то захлебывающиеся звуки. Мы виновато уставились в тарелки.

Дядя Солли сделал ужасную вещь. Накануне вечером, сразу после работы, он заглянул к мистеру Пиппику сыграть партию-другую в карты. У мистера Пиппика были кривые зубы — верный признак удачливого игрока. Когда игра окончилась, Солли остался без недельной получки.

Как ни странно, но меня это обрадовало. Дело в том, что мать недавно озадачила нас, произведя на свет из своего собственного тела маленькую девочку. Конечно, я к тому времени был уже достаточно большим, чтобы знать, что девочка выползла из щели между маминых ног. Но еще незадолго до того я убил бы любого, кто осмелился бы сказать, что моя мама вместе с дядей Солли вытворяет в постели то, о чем, распаяясь, говорили мальчишки. Однако, глядя на безобразно волосатую грудь дяди Солли, я беспокоился, что он все-таки делает с моей матерью что-то не то. Стоило лишь поглядеть на его тонкие губы и бледные глаза, как становилось понятно, что он — плохой человек. Ему удалось окрутить мою мать, потому что он притворился ласковым и нежным, но теперь-то, когда он в пух и прах проигрался, он наконец показал-таки свои дурные наклонности, и я надеялся, что мама его прогонит.

Но она его не прогнала. И вовсе не всегда он проигрывался. Взлеты и падения фортуны делали Солли такой загадочной личностью, что относительно него совершенно невозможно было что-нибудь предсказать. Как-то теплым летним вечером, когда все были на улице, за углом неожиданно зазвучал удивительно приятный голос, распевавший итальянскую песню. Ни у кого из местных музыкантов не было такого красивого голоса, и люди в удивлении умолкли, спрашивая друг друга, кто бы это мог так хорошо петь: может быть, какой-нибудь инвалид вой-

ны, который когда-то был оперным тенором? А пел он не просто так, всухую, а под аккомпанемент скрипок и духовых инструментов — ни дать ни взять, целый оркестр! Откуда вдруг, ни с того, ни с сего, взялось такое чудо?

Тут из-за угла появился дядя Солли, а в руках у него был изящный граммофон красного дерева: из граммофона торчала огромная зеленая труба с широким раструбом. Вокруг дяди Солли приплясывали дети, а на его сияющем лице застыла восторженная улыбка. Я смутился и перестал пинать ногой консервную банку, не зная, что́ должен делать десятилетний мальчик, когда он видит, как его отчим при всем честном народе крутит граммофон.

Кто-то из мальчишек сказал:

— Твой старик наклюкался.

И это, конечно, была неправда. Пьяный еврей был такой же редкостью, как еврей-свиновод.

Дядя Солли вошел в парадную, и я последовал за ним. На лестничных площадках столпились соседи, глядя во все глаза, как дядя Солли с граммофоном в руках ожидает, пока моя мать отворит ему дверь и выскажет свою радость при виде такого неожиданного подарка. Дядя Солли огляделся вокруг и несколько раз лукаво подмигнул, как бы приглашая всех соседей принять участие в его маленьком заговоре. Но мать почему-то не торопилась открывать дверь, а тем временем голос, звучащий из трубы, как-то странно изменился: он стал растягивать звуки, запел медленнее и из тенора превратился сначала в баритон, а потом и в бас. Дядя Солли поспешно поставил свою машину на пол, чтобы подкрутить ручку, но при этом у него с головы свалилась шляпа, она задела иглу, и звуки резко оборвались.

Как только прекратилась музыка, отношение соседей к чудесному инструменту сразу же изменилось.

— Позор на всю округу! — отчетливо прошептала одна из женщин.

— *Шикер, ви а гой!* — сказала другая, оглядываясь вокруг в поисках сочувствия.

— А кто страдает, так бедная женщина и *киндер*.

Мамаши стали в такт качать головами, выражая свое неодобрение и печаль.

— Да и чего можно ждать, когда вдова с четырьмя детьми выходит за англичанина? — прошептал кто-то.

Уж конечно, в Польше, в Галиции или на Украине такого безобразия нипочем не могло бы случиться!

Солли беспокойно огляделся вокруг, не понимая, в чем он провинился. Он встал, отряхнул пыль с колен и грациозно поправил шляпу, пытаясь придать себе осанку благородства. Я укрылся за перилами, но Солли меня увидел и улыбнулся мне кривой усмешкой. Я отвернулся, будто я с ним не знаком.

Мать открыла дверь; за спиной у нее маячили мои братья, а на руках она держала мою очередную новую сестричку. Увидев Солли, она испугалась.

— Не трогай детей! — закричала она.

Солли, подхватив под мышку граммофон, нетвердой походкой двинулся в спальню. Мы все — в возбуждении и страхе — сгруппировались в дверях. Мы знали, что, напившись, многие мужчины совершенно звереют и впадают в бешенство. Неужели и Солли тоже озверел?

Солли, однако, не проявил никаких признаков свирепости. Он спокойно поставил новую пластинку, распахнул окно и повернул раструб граммофонной трубы в сторону улицы. Послышалась мелодия песни «Веселый полисмен».

— Жалкие душонки! — удовлетворенно сказал Солли, глядя вниз в окно на обращенные кверху лица. — Надо вас чуть-чуть повеселить. Эй! — заорал он. — Послушайте хорошую музыку, вы, чертовы ханжи!

Граммoфон густым басом загрохотал:

— Ха-ха-ха-ха-ха!

— И у всех на глазах он устраивает такой скандал, *цудрейтер*! — в ужасе зашипела мать.

— Это же отличная песня. — возразил Солли, размахивая руками в такт музыке, как дирижер.

— У нас в доме хватает шума и без такой катеринки, — сказала мать.

— Ха-ха-ха-ха-ха! — захохотал раструб граммофона.

Солли начал смеяться. Он положил ребенка в кроватку и захлопнул окно, но после этого только пуще захохотал.

— Я богатый, Роза! — заорал он, выворачивая карманы. — Когда ты вышла за меня замуж, ты вышла за удачу!

По полу покатались монеты, а в воздухе запорхали фунтовые бумажки, как обрывки оберточной бумаги на рыночной площади после окончания воскресной распродажи.

— Такой удачи я своему лютейшему врагу не пожелаю! — сказала мать, подбирая деньги.

Тем временем «катеринка» продолжала играть.

Моя мать не раз и не два говорила о нашем отчине так, будто от был самый отчаянный игрок на свете. По мере того как в семье прибавлялось забот и одна беременность следовала за другой, после каждого примирения именно страсть Солли к игре становилась причиной новой ссоры. Но, по правде сказать, финансовые операции у Солли были обычно довольно скромные: то он ставил шиллинг-другой на собачьих бегах, то заскакивал к местному букмекеру Чарли и рисковал фунтом или двумя на скачках, то играл в карты по пенсовым ставкам. Однако иногда Солли входил в азарт, и тогда ему не было удержу. Должно быть, он жалел, что променял вольную холостяцкую жизнь, когда он был сам себе господин, на полпостели в тесной, перенаселенной квартирке, в которой даже воздух был пропитан запахом ссор и нишеты. Солли пускался в рискованные авантюры, надеясь вдруг разом выиграть большую сумму и одним махом превратиться в богача. В эти дни он уходил из дому танцующей походкой, шляпа его была лихо сдвинута набекрень, остроносые туфли сияли, как зеркало, а в карманах позвякивали деньги, предназ-

наченные на то, чтобы заплатить за квартиру. Но чаще всего в таких случаях собаку, на которую он ставил, какой-нибудь прохвост опаивал дурным зельем, чтобы она проиграла, или боксер — «совершеннейший верняк» — оказывался не в форме и получал нокаут; и тогда всем нам приходилось подолгу жить впроголодь, чтобы как-то выкарабкаться из беды, а к тому времени, как нам это удавалось, случалась другая.

— Это ловушка для простофиль, — бурчал Солли в такие минуты. — Всех, кто играет или ставит на скачках, надо упрятать в психушку.

После каждой такой крупной неудачи Солли подолгу вечерами сидел дома, бессмысленно тасовал колоду карт или же читал книги — про знаменитых убийц, про средневековые пытки, про «Синг-Синг» и другие жуткие тюрьмы (такие темы интересовали Солли больше всего) — или же просто клевал носом, пока не наступало время идти спать. Мы, дети, терпеть не могли его припадков раскаяния, потому что из-за них он по вечерам торчал дома — особенно зимой, когда мы любили сгрудиться у камина и слегка пошалить, а Солли в самые неожиданные моменты протягивал с кушетки свою длинную руку и награждал нас шлепками.

В один из таких вечеров Солли лежал на кушетке, полуодетый, задумчиво почесывая у себя под мышкой и попыхивая сигаретой-самокруткой. На груди у него лежала страница вечерней газеты с результатами последних скачек. Солли вычислял, сколько он мог бы заработать, если бы вчера он поставил на всех выигравших лошадей в Кемптон-парке. Получалось, что это было бы целое состояние.

— Роза, это было бы целое состояние, — сказал Солли.

Моя мать в это время кормила Джека, своего тогда последнего ребенка. Она отодвинула его от груди, погладила и позволила продолжать сосать. На столе в гостиной лежало неоконченное платье;

деньги, которые должны были за него прийти, уже заранее были задолжены бакалейщику.

— На скачках можно заработать больше, чем на чем угодно другом, — сказал Солли. — Это забава королей. Каждый день кто-то заколачивает миллионы. Ты об этом, небось, не думала?

— По-твоему, мне с утра до вечера больше и думать не о чем, — обозленно отозвалась мать.

Джек захныкал и уткнулся ей в грудь носом.

— Бубеле, тебе больше там ничего не высосать, кроме моего горя, — сказала она.

Солли встал и уставился в окно на захламленный двор, загроможденный мусорными баками.

— Ну и хлев! Диву даешься, как мы все тут еще не заболели чахоткой! — заметил он мрачно. — Должно быть, когда сюда приходит санитарный инспектор, на него слепота нападает. Небось, наш домовладелец всем им взятки дает. Все эти ваши проклятые домовладельцы — прохвосты и жулики.

— Наш домовладелец не еврей, а румын, — сказала мать. — И вообще я за него не отвечаю.

Мой братец Пинни вынул изо рта палец. Я в то время лежал на полу и разглядывал комиксы.

— А что такое *чихотка*? — спросил я. — Это болезнь, когда чихают?

— Нет, это когда кашляют кровью, — сказала мать.

— А у меня вчера кровь шла из носа, — сообщил Пинни.

— Ладно, заткнись и не мешай мне читать, — огрызнулся я.

Пинни снова засосал палец и стал задумчиво таращиться на огонь в камине. В квартире этажом выше глупый Хайми, который был сложен, как молодой бык, затопал ногами и заорал на своих сестер. С потолка посыпался дождик штукатурки.

Солли схватил швабру и яростно застучал в потолок.

— Эй, вы там, тише! — завопил он. — Дикари проклятые!

Но это было пустой тратой времени. Хайми всего лишь играл одну из скрипок в большом шумовом оркестре нашего дома. За стеной наша соседка миссис Бенджамин начала истошным голосом поносить своего супруга под аккомпанемент взрывов хохота, доносившегося из радиоприемника, и во всем доме велись — часто весьма повышенным тоном — разнообразные семейные дискуссии, как было в обычае в любой нормальный вечер. Один лишь Солли никак не мог привыкнуть в этому бедламу.

— Ну просто сумасшедший дом, ни дать ни взять! — простонал он и укоризненно поглядел на мою мать, как будто это она была во всем виновата.

— Ну что ж, дверь открыта! Можешь идти и жить во дворце!

Она уложила в постель младенца и села за швейную машину, чтобы дошить уже начатое платье. Тут же послышались удары снизу: это Цукерман, который жил под нами, возражал против шума швейной машины в такой поздний час.

— Я не могу вечно так жить, — пригрозил Солли.

Он раскурил погасший окурок и, снова улегшись на кушетку, продолжал изучение таблицы с результатами скачек.

В то время был кризис, люди реже, чем раньше, шили себе новые костюмы, и добрая половина мужчин нашего квартала была без работы. Мой отчим слонялся по Уайтчепел-род вместе с другими безработными портными. Многие из них в эти месяцы стали вступать в коммунистическую партию: они надеялись, что после революции — которая чуть было не произошла в Германии и того гляди разразится в Уэльсе — у всех будет навалом работы. Однако Солли решительно не захотел вступать в компартию. Он остался убежденным сторонником лейбористов.

— «Что мое, то мое, а что ваше, то тоже мое» — вот какой принцип у коммунистов, — говаривал Солли. — И вообще коммунизм — это сплошной обман; но меня-то на мякине не проведешь. По мне

чем власть оголтелой голытьбы, так уж лучше оголтелое частное предпринимательство.

А пока суд да дело, обручальное кольцо моей матери лежало в местном ломбарде, и не было денег его выкупить. И Солли ломал голову, что бы такое сделать, чтобы вырваться из заколдованного круга бедности. Он был не из тех, кто способен стать лотошником на рынке или мелочным торговцем с тачкой. Он искал чего-то, что сразу дало бы ему блестящие возможности. И никто из нас даже не догадывался, что он уже давно подумывает сделаться букмекером.

— Вот что, Роза, — сказал он однажды. — Я решил стать букмекером.

— С чего бы это вдруг?

— Я уже давно об этом думаю.

— А это хороший бизнес?

— Хороший ли это бизнес? — передразнил он. — Букмекеры каждый Божий день делают состояние.

Мать решила, что это у него очередная блажь, и выбросила ее из головы. Тем временем портняжные дела пошли бойче. Солли стал получать больше заказов, мы стали лучше питаться. В семье снова воцарились мир и спокойствие, мать начала прибавлять в весе, и скоро у нас в квартире появился очередной новый младенец. Теперь в комнатах было не повернуться.

— Не волнуйся, — бодро сказал Солли. — Скоро мы переедем в большой дом на Стэмфорд-Хилл.

Но как Солли мог совершить такое чудо? Оказалось, он так и не оставил мысли стать букмекером.

И все-таки мы ему не верили. Мы считали, что букмекер — это обязательно толстяк с золотыми зубами и сигарой во рту, и в карманах у него лежат толстые пачки денег, перехваченные резинками; или же букмекер — это такой человек, как Чарли. — кривоногий, с бегающими глазами (мелкие букмекеры всегда, стоя на углу и собирая билетики со ставками, нервно озирались вокруг, не появится ли полисмен).

В такой роли нашего отчима даже и представить себе было нельзя. С тех пор, как он вошел в нашу семью, он потерял в наших глазах весь свой аристократический лоск. Мы разглядели, что у него брюшко и что зад у него чересчур широкий — оттого, что он годами сидел за швейной машиной. Он больше не был похож ни на кого другого, кроме как на мужского портного, каковым он и был. Так откуда же он мог взять деньги для того, чтобы заняться букмекерским бизнесом?

Но получилось так, что деньги ему дал его младший брат Херми, первоклассный меховщик с пухлым счетом в банке.

— Что-таки можно сказать про Херми, так это что он умеет экономить. — говаривал Солли.

И вот Солли вместе с Херми образовал букмекерскую компанию: Херми дал деньги, Солли взял на себя организационные хлопоты. Они сняли контору на Херрингей-Грейхаунд у вдовы покойного букмекера Розенблюма. Вместе с помещением вдова Розенблюм сдала компаньонам стойку, большую доску, на которой мелом записывались результаты забегов, да кожаную сумку для денег — на сумке была надпись: «Нат ставит деньги на бочку». Моя мать специально съездила на Стэмфорд-Хилл, чтобы посмотреть, какие там дома и понравится ли ей этот район.

Все разговоры теперь у нас вертелись только вокруг скачек да собачьих бегов. Солли рассказывал нам самые умопомрачительные истории.

— Зуб даю, ты и не знаешь, — сказал я как-то в школе Шмулевичу, — что девка, которая ухаживает за собаками, может за день заработать на меховое манто: для этого ей нужно подсыпать в собачью еду немного пудры, чтоб та шибче бежала или, наоборот, упала и застыла, как мертвая.

Шмулевич был потрясен, и вокруг нас сгрудилась толпа мальчишек.

— Мик-Мельник, самый быстрый пес в мире, засадил себе в лапу занозу и все-таки пришел вторым, —

рассказывал я. — А в Тотенхеме победила собака по кличке Черномазый Джо. Ей не давали ни одного шанса, ставки против нее делались двадцать к одному. А на самом деле это был вовсе не Черномазый Джо, это был Священнический Нос, который до того выиграл приз Серебряный Трофей: Синдикат выкрасил этого пса в черный цвет, чтобы он выглядел точь-в-точь как Черномазый Джо. Синдикат — это ирландская мафия. Когда они ловят кого-нибудь, кто проигрался и пытался скрыться, не уплатив, они у него на спине вырезают ножом трилистник — ирландскую эмблему.

Шмуля задумчиво прочистил нос и скатал в пальцах бумажный шарик; затем, зажав его между большим и указательным пальцем, он запустил его в воздух и сказал:

— А мы можем создать еврейский Синдикат. И у наших должников будем вырезать на спине могоендовид. Крр! Крр! Крр!

В шутку он положил меня на пол, задрал мне рубашку, и слюной нарисовал у меня на коже могоендовид.

В тот вечер, когда Солли впервые отправился в свою новую букмекерскую контору, я был так возбужден, что не мог уснуть. Солли тщательно подготовился к этому событию: старательно отутюжил брюки, до блеска надраил ботинки, нафабрил свои крошечные шегольские усики, надел новый клетчатый пиджак с широкими лацканами и повязал яркий галстук. Моя мать пошла к миссис Бенджамин, чтобы вместе с ней ожидать триумфального возвращения мужа. Сквозь тонкую стенку до нас доносился ее мягкий, взволнованный голос. Как всегда бывало, когда я не мог уснуть, мои чувства были до предела обострены, и я словно внутри себя стал все явственнее ощущать бесконечные возможности, которые сулит огромный город, ощущать пульсирование отдаленных улиц, постепенно надвигающееся на меня, точно приближающийся духовой оркестр. Беспор-

койно ворочаясь в постели, я прислушивался, не раздалутся ли на лестнице шаги Солли, и меня сжигало нетерпение, напоминающее переживания влюбленного. Я воображал себе, как Солли вернется домой преображенный, и у него будет много денег, и он снова приобретет в наших глазах весь тот блеск, которым был озарен, когда впервые вошел в нашу жизнь. И мы будем любить друг друга, и нам, детям, всем купят по велосипеду. И я каждое утро стану выезжать из дому в автомобиле с шофером, одетый в яркую, красивую форму какой-нибудь знаменитой школы.

Около одиннадцати часов вечера мать вернулась от миссис Бенджамин и легла спать. Потом я сквозь свой неглубокий сон услышал скрип отворяемой двери. Чиркнула спичка, и Солли зажег газ. Когда газ чуть-чуть разгорелся, я увидел, что вместе с Солли пришел Херми: выражение лиц у них обоих было не веселое и озабоченное.

Солли сказал:

— Пожалуйста, потише, не разбуди детей.

Я вместе со своими тремя братьями спал на кушетке. На подушке рядом с моей головой лежали потные ноги Эйби; Пинни негромко храпел из-под своих разметавшихся золотистых волос; Барни зарылся головой в простыни.

— Ну, что ж, взглянем правде в глаза и подготовимся к самому худшему, — сказал Херми.

Они сделали какие-то подсчеты на полях газеты, и стало так тихо, что я услышал, как где-то под полом скребется мышь.

— Кажется, дело дрянь, — грустно сказал Солли.

— Дефицит четырнадцать соверенов, считая те четыре, что мы дали помощникам.

— Четырнадцать! — Вдыхании Херми послышался свист, словно оно было влажное и коснулось раскаленной кочерги. — Черт возьми!

— Нас подвел последний фаворит. А то бы мы были на коне.

— Мы недостаточно подстраховались встречными ставками, Солли. Я все время это говорил.

Они продолжали шептаться, снова и снова перебирая все перипетии минувшего вечера, чтобы обнаружить, где же все-таки они просчитались. Я уставился на газовый свет и в отчаянии подумал о том, что это же совершенно жуткая, невозполнимая потеря. Четырнадцать фунтов! Фантастическая сумма — она вдруг представилась мне в виде новехоньких, блестящих, звонких пенсовых монет, их были миллионы, и они крутились, вертелись, катились в какую-то бездонную сумку в крошечной тьме.

Дела у Солли так и не пошли лучше. Должно быть, Розенблюмова контора приносила неудачу: все, что удавалось заработать, уходило на уплату процентов. Не сразу, впрочем: бывали и удачные вечера, когда компаньоны загребали прибыль, но в конце концов заработали на всем этом лишь профессионалы — помощники букмекеров. Ходил слух, что в один прекрасный вечер Солли и Херми поспешно дали тягу, после того как третий заезд нанес сокрушительный удар по их бухгалтерским книгам: но Солли сам потом не раз об этом рассказывал, так что, наверно, все таки это была только шутка. Но это было много лет спустя: а в те дни, когда Солли был-таки букмекером, всем нам было не до шуток, его букмекерство было постоянной темой семейных скандалов.

— Деньги с неба не падают, — пилила его моя мать. — Когда, наконец, ты это поймешь?

А затем какой-то итальянец-мороженщик выиграл Дерби в ирландском тотализаторе и огреб семьдесят пять тысяч фунтов. Его фотографию — вместе со всей его огромной, плачущей от счастья семьей — напечатала сначала газета «Патэ ньюз», а потом и остальные газеты Англии. По нашему кварталу пронеслась лихорадка зависти. Женщины вырывали шиллинги из семейного бюджета, чтобы делать ставки. Моя мать создала синдикат вместе с миссис Бенджамин, миссис Ройтман, старой миссис Шаффер и Джинни Манди, дочерью сторожа, и каждая пожертвовала флорин в надежде выиграть состоя-

ние. Дядя Солли купил себе, как он сказал, счастливый билет: если сложить все цифры, получалось магическое число — тринадцать. И все жители квартала — все без исключения — ждали, что они вот вот разбогатеют.

Нужно сказать, что была-таки одна вещь, которую жители нашего квартала никогда не теряли. Они не теряли надежды. Никогда.

## 7. Фаня

Когда я был мальчишкой, в Лондоне можно было всего за какой-нибудь четырехпенсовик провести целых три часа на галерке кинотеатра и увидеть за это время два потрясающих фильма с полным набором кинозвезд. Куда уж было жалкому живому театру состязаться с кинематографом! И не удивительно, что все говорили: театр умирает. Но потом, когда в течение целого сезона в помещении Уайтчепелского павильона выступала труппа нью-йоркского Еврейского театра на идиш, Гершель Розенгейм разбил сердце Фани Цигельбаум; и, может быть, именно потому, что мне довелось тоже чуть-чуть отпробовать этой горечи, Гамлет в исполнении Розенгейма сохранился у меня в памяти даже тогда, когда я давным-давно напрочь позабыл содержание фильма «Четыре всадника Апокалипсиса» и не мог вспомнить, кто именно играл сына Эла Джолсона в фильме «Певец джаза».

Когда Фаня впервые стала у нас работать, ей было четырнадцать лет. Это была тощая девочка-сирота с обветренным лицом, и чулки на ее тонюсеньких, как спички, ножках постоянно морщились и спадали. Моя мать взяла Фаню ученицей, потому что это была *мицва*. Фаня жила со скуперляйкой-теткой в высоком унылом многоквартирном доме — ни дать, ни взять казарма — на одной из самых паршивых улиц, что отходили от Коммершел-род. Тетка отчаянно экономила на Фаниной пище для того, чтобы кормить своих собственных детей — их было четверо, все ужасно толстопузые и толстозадые. Тетка и ее муж зарабатывали на жизнь тем, что отсиживали около умерших перед погребением — как того требует наш ритуальный обычай, а вдобавок имели

кое-какой дополнительный доход с одежды покойников, которую они продавали старьевщикам. Такая семейка, небось, могла бы хоть кого сбить с панталыку, но у Фани было кое-что, что ее спасло. Она очень быстро схватывала все, что касалось портняжного мастерства; и, поучившись у моей матери всего лишь что-то около года, Фаня с ее благословения переехала в Вест-Энд, где стала зарабатывать хорошие деньги в модном ателье. Но у нее не было привычки задира́ть нос, и она всегда была готова помочь, если матери нужно было срочно сшить кому-нибудь свадебное платье или возникала еще какая-нибудь нужда, так что для нас Фаня всегда оставалась своей.

Каждый раз, как Фаня появлялась у нас, мы замечали, что она пополнела по сравнению с прошлым разом, и постепенно она из худышки превратилась в толстушку; особенно увеличились у нее груди и ягодицы: те и другие плавно закруглялись, как две полные луны. Фаня съехала от своей тетки и теперь снимала квартиру на пару с молодой вдовушкой — продавщицей косметики; эта вдовушка знала все на свете о том, как наводить на себя красоту, и такое знакомство само собой не прошло даром: Фаня изменилась, ну просто как по волшебству. Она ходила теперь в модных платьях, которые сама шила по эскизам, взятым из модных журналов: это были точь-в-точь такие платья, в каких щеголяли самые богатые вест-эндские дамы. Фаня мазала губы несмываемой помадой цвета малинового варенья, полоскала рот душистым эликсиром фирмы «Кашу́» и как-то по-особенному подводи́ла себе глаза, так что они казались ужасно большими и блестящими. Короче, Фаня неожиданно превратилась в писаную красавицу; и хотя далеко не все одобряли это гойское увлечение косметикой, большинство было согласно в том, что такая картинка, как Фаня, как пить дать, подцепит себе женишка первый сорт, может стать, даже какого-нибудь толстосума с собственным делом. Я тоже надеялся, что так оно и будет, потому

что Фаня была одной из первых девушек, в которую я влюбился.

В то лето, когда моя мать была беременна Давидом — третьим ребенком дяди Солли, Фаня почти каждый вечер приходила к нам, чтобы чем-нибудь помочь. Она всех нас приободряла. Мой братец Эйби, которому вот-вот должно было стукнуть пятнадцать и который ужасно задался, потому что он уже работал и заколачивал целый фунт в неделю, — так вот, Эйби буквально увивался вокруг Фани, говорил ломающимся баском и смачно затягивался сигаретой, выпуская дым через ноздри, как заправский курильщик. Дядя Солли в это время уже почти перестал ходить на боксерские матчи и собачьи бега. Он без передышки рассказывал разные байки о своих холостых годах в Южной Африке, а то и о еще более ранних временах — о войне, когда он кормил вшей в окопах, и при этом он приподнимал штанину, показывал свои шрапнельные раны и позволял Фане пощупать себе ногу, чтобы она могла ощутить у него под кожей кусочки металла. Что же до моей матери — а это было для нее хорошее время, — то она, крутя свою швейную машину, напевала русские песни, вспоминала родную Одессу, всерьез толковала с Фаней о любви и иногда взглядывала на Солли так, словно она была невинная восемнадцатилетняя девушка.

Как-то поздно вечером — было уже часов одиннадцать — мне поручили проводить Фаню домой. Ей надо было проходить через туннель, проделанный в насыпи железной дороги, а в этом туннеле часто околачивались всякие пьяные и развратные гои. Моя мать не позволяла Фане по вечерам возвращаться домой одной, но провожать ее она не отпускала ни моего отчима, ни Эйби; не то чтобы она им не доверяла, но ей казалось, что в таких темных, мрачных местах, как туннель под железной дорогой, прячется дибук искушения, а он скорее охмурит взрослого мужчину или пятнадцатилетнего подростка, чем та-

кого сексуально недоразвитого тринадцатилетнего мальчика, как я. Мне же было ужасно лестно, что на меня возлагали высокую ответственность быть защитником красивой девушки: идя рядом с нею, я с каждой минутой чувствовал, что становлюсь все взрослее и взрослее.

Когда мы подошли к железной дороге, в туннеле не было заметно никаких признаков распутства, хотя в нескольких местах у стен лежали, подстелив под себя старые газеты, обнявшиеся парочки. В туннеле было мрачно и чем-то отвратно пахло. Я подумал об открывающихся передо мной зловещих возможностях и неожиданно ощутил возбуждение: как видно, против *дибука* и у меня не было иммунитета.

— Сейчас мы проходим мимо того места, где Джек-Потрошитель совершил свое самое знаменитое убийство! — зловещим шепотом провозгласил я. — Была ночь, и стоял сильный туман. Та женщина вышла из таверны и вдруг заметила, что за ней идет какой-то человек, закутанный в черный плащ. Он поволок ее в туннель и так ее исполосовал, что кровь текла по канаве, точно вода.

— Ты хочешь меня напугать? — спросила Фаня, и глаза у нее расширились. — Я скажу твоей маме.

Никогда бы я раньше не подумал, что пугать девушек — такое увлекательное занятие.

— Ну, что ты, Фаня! Зуб даю, все это так и было! Он сперва был знаменитым врачом, а потом заболел и свихнулся и стал что называется сексуальным маньяком. Поэтому он убивал одних только женщин. Можешь пойти в библиотеку и сама обо всем этом прочесть.

— У нас в библиотеке про это книг нет, — сказала Фаня. — Там такие книги держать не разрешается.

— Но, Фаня...

— И я больше не хочу об этом слушать!

Голос у нее был суровый, как у взрослой женщины, поэтому я пожал плечами и остановился, предоставив ей возможность идти дальше без меня. Но не

успела она, боязливо оглядываясь, пройти несколько шагов, как из-за угла вышли, шатаясь, двое мертвенки пьяных работяг, которые во всю глотку горланили какую-то похабную песню. Покачиваясь, они двинулись прямо на нас, загородив собою весь довольно узкий тротуар и продолжая петь. Мы с Фаней вцепились друг в друга и прижались к стене. Я ощутил теплоту и мягкость ее тела и почувствовал, что желание становится во мне почти непреодолимым. Когда наши животы соприкоснулись, мой не по возрасту твердый детский член уперся ей в ногу, и даже после того, как пьяные уже скрылись из виду, мы с Фаней не сразу расцепились. Роста мы с ней были примерно одинакового, и от Фани исходил густой, терпкий запах, как от потного животного. Я неуклюже прижался губами к Фаниным губам, и у меня во рту защекотало едким запахом эликсира «Кашу».

Фаня резко оторвалась от меня. Ночь пульсировала тьмой и похотью. Мы молча двинулись дальше, и, казалось, пути этому конца не будет. Наконец показались огни Уайтчепеля, и мы искоса обменялись взглядами. Из раскрытых окон и дверей баров доносилась будоражающая музыка. Вокруг бесцельно слонялись, посвистывая, элегантные молодые повесы с боксерскими плечами, сделанными из ваты. Фаня явно только и думала о том, как бы от меня отделаться. Я понимал, что ей неловко. Ей не хотелось, чтобы ее видели в компании мальчика, одетого в короткие штанишки, — особенно после того, что произошло в туннеле. Когда Фаня убегала от меня прочь, какой-то юнец с набрильяntenными волосами окликнул ее, произнося слова с явным американским акцентом:

— Эй, красотка, куда это ты так торопишься?

Я медленно побрел домой, вспоминая мягкие Фанины формы и краснея в темноте. Разлеваясь перед тем, как лечь в постель, я взглянул на волосы, начинавшие расти у меня под животом. Это мне напомнило, что я унаследую от моих предков мужского

пола их волосатость и их нелепую, постыдную похоть. И всю ночь я сгорал от стыда.

Той осенью в Лондон на целый сезон приехал из Нью-Йорка тамошний Еврейский театр. Прежде всего он показал пьесу Готгольда-Эфраима Лессинга «Натан Мудрый» в переводе на идиш; главный театральный критик нашего дома — часовщик Шмулик сказал, что это вызывающе смелый перевод. Я слышал, как Шмулик обсуждал спектакль со старой бакалейщицей миссис Розен, пока она, выполняя свой обычный ежедневный ритуал, взвешивала сахар и рассыпала его по синим бумажным пакетам. По словам Шмулика, этот Лессинг был ассимилятором, самого худшего толка, и поэтому он, само собой, сделал так, что Рэха, героиня его пьесы, влюбилась в ужасно вульгарного гоя — настоящего *шейгеца*. Миссис Розен, соглашаясь со Шмуликом, энергично затрясла головой, так что ее предписанный ортодоксией парик чуть не свалился в сахар. Даже в лучшие времена «Натан Мудрый» не был любимой пьесой Шмулика, но в довершение всего на спектакле Шмулик имел несчастье оказаться рядом с какой-то женщиной, которая все время, пока шло представление, не переставая ела жареную рыбу.

— Она, должно быть, тоже критик, — мрачно заметил Шмулик.

Провал «Натана Мудрого» был с лихвой возмещен следующим спектаклем — комедией Гольдфадена, название которой я забыл. Пьеса имела шумный успех, потому что она вызывала у зрителей и смех, и слезы, и воспоминания о прошлом — все в одно и то же время. И хотя мы то и дело слышали от старших, как плохо раньше жилось евреям, всем ужасно хотелось заново пережить свое прошлое. После того, как премьера комедии Гольдфадена произвела фурор, спектакль постоянно шел с аншлагом, в театр устремились все лондонские евреи, от хозяина портняжной мастерской до простого гладильщика. Богатеи и

эксплуататоры приезжали на такси аж от Парк-Лейна и Стэмфорд-Хилла и смешивались в зале на равных с классово сознательными пролетариями. Беззубые старики, у которых прежде едва хватало сил проковылять по рынку, теперь резво скакали по Уайтчепелю, словно омоложенные, и, расталкивая людей костлявыми кулаками, пробирались без очереди к кассе. Тротуар перед театром, усеянный скорлупой каштанов и бумажными пакетами из-под сладостей, выглядел, как парк «Виктория» в Троицын день. Уличные разносчики продавали тут бейгелы, печеный картофель, фрукты, каштаны, прохладительные напитки. Бородатые хасиды в длинных лапсердаках собирали пожертвования на виленские и иерусалимские ешиботы. Уличные музыканты, которые до того годами не прикасались к смычку, выводили на своих скрипках заплесневелые восточно-европейские мелодии. Все говорили, что теперь в Павильоне — как в добрые старые дни: и почтенного возраста интеллектуалы, собиравшиеся в ресторане Гойды, выжимали себе в чай последние капли лимонного сока и предсказывали чудесное возрождение театра на идиш.

Все это, конечно, мало трогало молодое поколение, и Фаня Цигельбаум могла бы вовеки не встретиться с Розенгеймом, если бы костюмы актеров не нуждались в постоянных штопках и починках. Кто-то из общих друзей представил Фаню главной костюмерше. В первый вечер, когда Фаня пришла работать в костюмерную, Розенгейм профдефилировал со сцены в кожаных штанах и кавалерийских сапогах. Он был полон огня и нежности — все еще находясь под влиянием своей романтической роли. Фаня опустилась перед ним на колени, чтобы залатать разошедшийся шов, и пока она делала, что ей было положено, Розенгейм — как она потом рассказывала моей матери — погладил ее по голове. Его, должно быть, приятно поразила ее юность и свежесть, потому что у него в театре даже роли инженеру исполня-

лись актрисами, уже выдавшими замуж своих дочерей. Что же до Фани, то прикосновение руки артиста, наверно, так ее разволновало, что с этой минуты она не мечтала ни о чем другом, как стать под хит и превратиться в миссис Розенгейм. То есть, конечно, как признался сам артист, Фаня стала бы второй миссис Розенгейм, но, разумеется, он в этом клялся, последней. Он обещал, как только закончится лондонский сезон, увезти ее в Америку и сделать своей маленькой ангельской женушкой.

Позднее, когда это плохо кончилось, люди клялись, что они все знали наперед; но если даже это было так, они вели себя осторожно и девушке ничего зловещего не предсказывали. Когда она появлялась у нас в гостях, соседи всегда находили предлог, чтобы к нам заглянуть: у одного кончился сахар, другому нужно было поменять газовый счетчик, а третий просто, проходя мимо, решил заглянуть на огонек. Пружины кушетки жалобно скрипели, принимая на себя все новых и новых гостей, удобно устраивавшихся, чтобы попить с нами чайку.

Фаня была возбуждена и говорила, не закрывая рта.

— Вчера публика была такая холодная, что и представить себе не можете! — восклицала она.

А в другой раз она вся аж светилась от удовольствия и восклицала:

— После спектакля пришлось шесть раз поднимать занавес и выходить раскланиваться!

Неожиданно Фаня превратилась в знатока театрального искусства. Ее волновало будущее театра на идиш. Она возмущалась, что люди идут в кино смотреть всякий вздор, а театром с живыми актерами пренебрегают. Ее заботило, что не было больше великих драматургов — новых Шолом-Алейхемов. И публика больше не высказывает уважения еврейскому актеру. Плюет ему в лицо. Гарри — так она нежно называла Гершеля Розенгейма — отказался от ангажементов на Бродвее, где он мог бы сыграть за-

мечательные роли и завоевать славу. Но долго ли он сможет приносить такие жертвы?

Женщины, конечно, предпочли бы поменьше слушать о Розенгейме-актере и побольше о Розенгейме-любовнике. Многим из нас трудно было поверить, что актер — это такой же человек, как все другие люди. Неужели, если его поранить, у него идет настоящая кровь, неужели он страдает, как все, и, как все, ходит в уборную? Музыкант — да. Боксер — тоже. Но актер? Фаня была молодая, глупенькая, у нее еще сохранились романтические фантазии. Может быть, не так уж вовсе все было правдой, что она говорила о Розенгейме, она могла и преувеличить. Но даже будь все это правда, что ей, простой рабочей девушке, было делать с актером? Когда речь идет о таких людях, можно быть уверенным только в одном: все они совершенно безнравственные люди — что да, то да.

Моя мать как-то сказала:

— Ты же сиротка, без отца, без матери: тебе надо быть осторожной, а то, не приведи Бог, кто-нибудь может воспользоваться твоей неопытностью.

Что она имела в виду — это все понимали. Две минуты удовольствия, девять месяцев страданий — и вся жизнь разрушена.

— В конце концов давно ли ты с ним знакома? Да ведь чуть раньше, чем вчера, ты его и в глаза не видела! Мужчина иной раз любит отпускать комплименты. Флиртовать. А брак, — наставительно сказала мать, — это на всю жизнь.

Фаня была девушка серьезная. Прежде чем ответить, она немного подумала, а затем взглянула в лицо моей матери, и в ее зоре светилось предвидение своей судьбы.

— Иногда достаточно минуты, чтобы поверить, — убежденно сказала она.

И скромно добавила:

— Не знаю, почему мне так повезло. Однажды Гарри танцевал с Глорией Свенсон. На благотвори-

тельном балу. Не понимаю, что он во мне нашел.

Однажды воскресным утром я стоял в толпе на рынке на Маркет-стрит, впиваясь взглядом в маленького ирландца, показывающего карточные фокусы.

— Вам нужно лишь внимательно смотреть на мои руки! — выкрикнул ирландец уголком рта. — Ну, ребята, смотрите!

Он показал нам даму и тщательно смешал карты на складном зеленом столике.

В этот момент из кондитерской Стронгуотера вышла Фаня с большим коричневым бумажным пакетом в руках. С ней вместе вышел мужчина в шляпе с загнутыми полями, из-под которых торчали клочки рыжеватых волос. Видя, с каким изяществом он держит сигарету, я мог бы поклясться, что этот человек — актер. Во всех остальных отношениях его нельзя было бы отличить от обыкновенного портного. Заинтересовавшись, я хотел было последовать за Фаней и ее спутником, но в этот момент ирландец схватил меня за руку.

— Среди вас есть такие, которые не доверят ирландцу цену кружки пива, — мрачно сказал он. — Ну, так поглядите на этого паренька! На его лице — печать самой невинности, точно он из церковного хора. Ну-ка, паренек, положи палец на эту карту. А теперь слушайте! Если бы я сказал, что под его пальцем дама червей, кто-нибудь из вас поверил бы мне хоть на десять шиллингов? Ставлю десять шиллингов — кто хочет биться об заклад?

Никто не отважился. Ирландец перевернул карту. Это и вправду была дама червей. Я вырвал руку и был таков.

Фаня прижалась к плечу Розенгейма и все время нервно вертела головой, словно хотела убедиться, смотрят на нее прохожие или нет. На ней было желтое платье без рукавов, и ее длинные волосы цвета черного дерева блестели и переливались. Как всегда, мужчины оборачивались и глазели на нее, но Розенгейм не удостоился даже беглого взгляда. Он, может

быть, лишь играл роль обыкновенного смертного, и я восхитился его скромностью, хотя меня несколько разочаровало то, что он был мал ростом. Я воображал его себе высоким человеком с повелительными манерами, а на самом деле, если бы он снял шляпу, так Фаня была бы выше его ростом.

На Филдгейт-стрит я перебежал на противоположный тротуар и сумел хорошо разглядеть актера в профиль, и они тоже оба меня увидели. Я отвернулся, притворившись, будто я здесь случайно, и начал внимательно разглядывать витрину часовой лавки: за стеклом часовщик, ввинтив себе в глаз черный стаканчик, копался щипчиками в колесиках раскрытых часов. Фаня и Розенгейм перешли улицу и подошли ко мне.

— Эй, незнакомец! Как ты здесь оказался? — рассчитанно изумленно спросила Фаня, как будто мы были где-то у черта на рогах, по меньшей мере в районе Оксфорд-стрит.

Я оглянулся и сделал вид, что удивлен. Рука Розенгейма покоилась на руке Фани, и он гладил указательным пальцем ее кожу. Фаня сказала ему, кто я такой. Она явно уже успела раньше рассказать ему, что ее связывает с нашей семьей: он взглянул на меня с интересом.

— Я много слышал о твоих родителях, — сказал Розенгейм; произношение у него было, как у чикагского гангстера. — Фаня мне говорила, что вы все замечательные люди. — Судя по его глазам и голосу, он был вполне искренен. — Особенно твоя мать. Она заботилась об этой девушке, как о собственной дочери.

Он сжал Фанину пухлую руку, и она восхищенно подняла на него глаза.

— Ну, нам пора, передай привет всем вашим, сынок, — сказал он.

Они уже отошли на несколько шагов, но тут ему словно пришла в голову еще одна мысль: он обернулся и сказал Фане:

— *Либхен*, приведи как-нибудь мальчика в театр. Может быть, ему будет интересно поглядеть, что делается за кулисами. Почему нет?

Честно говоря, я не так уж и много ожидал от Павильона: в конце концов, театр на идиш — это вам не лондонский «Палладиум»; и все-таки я был поражен, увидев, что дверь со сцены вела в здание еще более грязное, запущенное и неромантическое, чем даже коридоры и лестницы нашего многоквартирного дома. Фаня повела меня в костюмерную. Там стояла швейная машина и гладильные доски. На побеленной стене висел пожелтевший плакат министерства труда, прозаически призывавший соблюдать правила противопожарной безопасности. Из находившегося рядом туалета доносился кислый запах. Главная костюмерша — миссис Майерс — оказалась полногрудой женщиной с квадратным лицом, снизу переходящим в жирные складки шеи. Но она была заботливая, ласковая: сразу же, как только я вошел, она угостила меня чашкой густого, вкусного кофе. Со сцены глухо доносился гул голосов — это мне напоминало, как дома сквозь стену из соседней квартиры доносились споры да разговоры.

В этот вечер ставили «Гамлета». Миссис Майерс рассказала мне сюжет, хотя, как она сама призналась, ей пока что все время было недосуг посмотреть спектакль. Это была пьеса про молодого принца и про его мать — настоящее чудовище. Вместе с лядей Гамлета — братом короля — она отравила своего мужа, а затем вышла замуж за убийцу. Это так удручило принца, что он возненавидел весь мир. Даже со своей невестой, прекрасной девушкой, он обращался до того скверно, что она утопилась.

Миссис Майерс все это очень ярко описала — так ярко, что я дожидаться не мог, пока начнется спектакль.

В полутьме Фаня отвела меня за кулисы. Рука у нее горела, и я чувствовал, что девушку всю трясет. В узком колодце сидел человек, похожий на мышь в

мышеловке, и водил носом по тексту пьесы. По бокам сцены высились крепостные башни; при мне их подняли вверх на каких-то блоках и заменили мрачными дворцовыми покоем. Человек в обтрепанных брюках одной рукой ковырял спичкой в зубах, а другой направлял свет юпитера. Я плохо понимал шекспировский идиш: он не был похож ни на те звучные пятистопные ямбы, которые в школе декламировал, подвывая в свой гойский нос, наш учитель мистер Паркер, ни на идиш моей матери. Только когда Розенгейм, мрачно меряя шагами сцену и упершись кулаком в подбородок, начал свой знаменитый монолог, я стал схватывать, что происходит.

— *Цу зайн, одер нихт цу зайн, дос ист дер фраге!*

— начал Розенгейм медленным, взволнованным, но удивительно звучным голосом.

Фаня смотрела на него, окаменев, и в глазах у нее светился ужас, словно она боялась, что он примет неверное решение. Рот у нее был полуоткрыт, как у ребенка, слушающего сказку, и она вся отзывалась на звуки розенгеймовского голоса, как струны рояля отзываются на движения пальцев пианиста по клавишам. По мере того, как актер продолжал декламировать свой монолог перед полупустым залом, Фаня сжимала кулаки и дышала все чаще и чаще. Грудь ее вздымалась, как у загнанного животного, и я еле сдерживался, чтобы не погладить ее и тем попытаться ее успокоить. Ничто, происходившее на сцене, — даже вопли Гамлета над утонувшей Офелией — не взволновало меня так, как безумная Фанина любовь.

Но вскоре мне стало ужасно скучно. Чем смотреть спектакль, так куда интереснее было подслушивать разговоры актеров, которые в промежутках между выходами слонялись взад и вперед за кулисами, курили, почесывали свои вспотевшие лица и бурчали что-то насчет неблагодарной публики. Мать Гамлета — знаменитая Эстер Фриденталь — жевала бутерброд с печенкой и беседовала с другой актрисой о

своим сыне, который в Нью-Йорке разумно предпочел изучать управленческое дело.

Один за другим актеры бросали в урны окурки сигарет и выходили на сцену, чтобы пасть мертвыми. Когда настал черед Розенгейма, он долго дергался и корчился. Под жидкие аплодисменты опустился занавес, актеры пару раз, улыбаясь, вышли на авансцену и раскланялись — и обменялись завистливыми взглядами, когда после этого Розенгейм вышел на авансцену один, чтобы пожать урожай рукоплесканий, предназначенных исключительно ему. Когда он выбросил в стороны руки и склонил голову, точно пригвождаемый к кресту, на его одежде заблестели капельки пота. Затем публика устремила к выходу, и по всему залу раздался треск разламываемой каштановой скорлупы. Розенгейм стоял неподвижно, пока не опустился занавес.

Фаня кинулась к нему.

— Гарри! — сказала она. — Дорогой! Это было... это было так... так чудесно! Я просто выразить не могу!

Розенгейм, слишком взволнованный, чтобы говорить, безмолвно сжал ей руку и двинулся прочь со сцены. Когда он проходил мимо меня, я хорошо разглядел его лицо: оно было бледным, возбужденным, нервно дергающимся.

— Он и вправду страдает, — с рыданием в голосе сказала Фаня. — Когда он на сцене, он вкладывает в роль все свое сердце, всю свою душу.

Она побежала за ним, и оба скрылись в гримировочной.

Я остался совершенно один. Не зная, что делать, я побрел на опустевшую сцену.

— Леди и джентльмены, люди мира! — негромко, но как можно внушительнее сказал я, протянув руку к пустому залу.

Затем — на этот раз громче — я произнес:

— *Цу зайн, одер нихт цу зайн!*

Где-то в середине фразы мой голос почему-то за-

звучал фальцетом. От галерки до первых рядов партера меня внимательно слушали пустые ряды кресел. Я ощущал себя так, словно в любую минуту с губ моих сорвется вдохновенная речь, которая огласит не только весь театр, но и весь город.

— Я... сейчас... — начал я. — Я... я...

Что?

Мне скоро будет четырнадцать. Несчастный очкарик, я не сумел добиться стипендии, чтобы продолжать учиться. Мне нечего было сказать.

Дверь гримировочной Розенгейма была слегка приоткрыта. Оттуда не доносилось ни звука. В углу комнаты стояло большое трюмо, оно отражало другой угол, и я увидел в зеркале, что Фаня утонула в объятиях и поцелуях своего рыжеволосого Гамлета.

А дома король — мой отец — тоже был давно мертв; и его узурпатор — мой отчим — был в дурном расположении духа.

— Где ты шатался до двенадцати ночи, а? — спросил он.

Я пронзил его острым, как лезвие меча, взглядом моих пронзительных глаз.

Нью-йоркский Еврейский театр закончил свои лондонские гастроли и отбыл обратно в Америку. С тех пор я ни разу не видел Розенгейма. Он объяснил, что не может увезти Фаню с собой в Нью-Йорк сейчас же, потому что сразу же по возвращении театр должен был отправиться на гастроли по Америке — по всем городам, где живут евреи. Фаня умоляла взять ее с собой и доказывала, что в театре всегда полезно иметь кого-то, кто умеет орудовать иглой и ниткой. Но нет. Такая собачья жизнь — постоянные переезды с места на место, дешевые гостиницы, накуренные залы. — все это не для нее. Боже упаси! Розенгейм хотел, чтобы Фаня приехала к нему, как принцесса. Для этого он должен был все подготовить: снять хорошую квартиру с коврами по стенам и с кондиционером, чтобы там было приятно жить и летом и зимой, подыскать негритянку-горничную, ко-

торая будет ходить в накрахмаленном белом переднике. Для его ангельской женушки все должно быть только самое лучшее! Он готов был отдать ей весь Нью-Йорк, всю Америку, весь мир — только надо было немного подождать, набраться терпения.

Фаня была очень разочарована, потому что ей нужен был один только Розенгейм, а не Америка и не мир; но любовь ее была так сильна, что она нашла в себе твердость запастись терпением. Когда он прислал ей из Нью-Йорка открытку, она продемонстрировала ее всему кварталу. Стиснутый манхэттенскими небоскребами, он писал ей на идиш: «Моя любовь выше, чем Эмпайр-Стейт-Билдинг — самое высокое здание в мире. Твой Гарри». Из Чикаго он прислал открытку с видом прибрежной автострады: на обороте открытки было написано: «Ангел мой, я так по тебе скучаю, и мои слезы переполняют это озеро». Потом с месяц от Розенгейма не было никаких вестей, и наконец пришла открытка из Сан-Франциско: «Газета «Экзаминер» пишет: «Гамлет в исполнении Розенгейма — это настоящий триумф». Как жаль, что тебя здесь нет».

В следующий раз, придя к нам в гости, Фаня была одета в старое, поношенное платье, и ее лицо без каких бы то ни было признаков косметики выглядело таким же худым и голодным, как в тот далекий день, когда она впервые переступила наш порог. Моя мать испытующе взглянула на Фаню и сразу же увела ее в ванную комнату. Там они о чем-то негромко поговорили, а потом Фаня вся в слезах выскочила из ванной и убежала.

— Так и есть, она беременна, — шепотом сказала моя мать нашей соседке миссис Бенджамин. — Да это уже и видно.

Она откинулась в кресле и положила руки на свой большой живот.

Миссис Бенджамин взглянула на мать с радостным испугом.

— Беременна? От кого? От того актеришки?

— От кого же еще? Не ветер же ей надул!

Миссис Бенджамин шлепнула себя по щекам и закачалась из стороны в сторону.

— Ай-ай-ай! Ну и бандит же этот Розенгейм! Вот ведь правда, Роза, никогда нельзя доверять рыжему! У рыжего кровь кипит, будто в котле. А когда, — добавила миссис Бенджамин с возбуждением в голосе, — когда ей рожать?

— Завтра мы с ней попробуем съездить к толстой Йетте. — сказала моя мать, и по носу у нее поползла слеза; ей уже случалось пару раз навещать толстую Йетту, но каждый раз без толку. — Бог даст, на этот раз поможет. Эта бедная девочка для меня — как родная дочь.

На следующий вечер, когда все было кончено, моя мать рассказала миссис Бенджамин, что толстая Йетта поначалу не хотела за это браться, но потом сжалилась над такой юной девушкой, попавшей в беду, и все-таки согласилась. Моя мать тяжело поднялась и заперлась вместе с миссис Бенджамин в гостиной, чтобы мы не подслушали каких-нибудь неприличных подробностей. Мы поняли, что речь идет о чем-то очень интересном, и, разумеется, стали подслушивать.

— Это было ужасно, — сказала моя мать трагическим шепотом, который был отлично слышен сквозь стену. — У нее из тела вынули живое дитя. Каждый пальчик, каждый ноготок — как у настоящего ребенка. И *нешума* — душа — пыталась дышать. Доживи я хоть до ста лет, я никогда этого не забуду. — Наступила долгая тишина, а потом мать продолжала: — Положить бы это тельце в гробик да послать этому... этому убийце! — заявила она страшным голосом.

Потом она открыла дверь.

— А ну, вы что тут делаете? Идите играть! — закричала она нам.

Когда я вернулся домой, миссис Бенджамин уже ушла, и по квартире разносился восхитительный

аромат варившейся курицы. Моя мать налила бульону в кувшин и плотно закрыла его вошеной бумагой, а сверху крышкой. Мне было велено снести этот кувшин Фане.

Было студеное январское воскресенье. Я спрятал бульон под куртку и всю дорогу согревал его своим телом, а его тепло приятно согревало меня. Когда я шел по Брик-Лейн, на стенах все еще висели обрывки афиш, извещавших о том, что в помещении Уайтчепелского павильона проходят гастроли замечательного нью-йоркского Еврейского театра. И три месяца спустя, когда Фаня Цигельбаум уже переехала в Манчестер, где никто не знал о ее позоре, эти обрывки афиш все еще висели на стенах. И по вечерам, проходя сквозь туннель под насыпью железной дороги, я нередко думал о том, что все могло бы быть иначе, если бы я только был старше, импозантнее и овеян ореолом блистательного иностранца.

## 8. Вражеская территория

У мистера Джеймса, учителя профессионального училища, было квадратное, покрытое веснушками, загорелое лицо, с раздвоенным подбородком, как у Джонни Вайсмюллера. Он выглядел таким «своим парнем».

— Рассаживайтесь, кто где хочет, — сказал он весело, когда мы нестройно ввалились в класс и стали нюхать воздух в этом новом, еще незнакомом нам месте.

Во мне закопошилось какое-то глубоко запрятанное национальное воспоминание, которое всколыхнуло смутный оттенок тревоги — вечный страх еврея перед необрезанными.

— Овец от козлий мы отделим позже, — пригрозил мистер Джеймс, дружески улыбаясь.

Анималистическая метафора была здесь, как это ни печально, к месту: все училище насквозь пропахло терпкими плотоядными запахами, в изобилии струившимися с расположенного по соседству Смитфилдского рынка. Я впервые увидел этот рынок, когда шел сквозь него в училище: вокруг меня громоздились длиннющие ряды замороженных свиней, у которых в остекленевших глазах застыла боль. И, что еще хуже, совсем рядом с училищем стояли котлы, в которых варились потроха убитых животных, а эти котлы издавали такую вонь, что она ударяла в нос даже на открытом воздухе — на площадке для игр. Для мальчика, недавно осознавшего свои животные инстинкты, это было не самое спокойное место для того, чтобы начинать здесь новый этап своего образования.

В класс, семена короткими ножками, вошел директор училища.

— А ну, ребятки, все вместе! — скомандовал мистер Джеймс, дирижерским жестом подняв руку. — Доброе утро, сэр!

— Доброе утро, сэр! — отозвались мы нестройным хором.

Над жестким стоячим воротничком директора вынысало розовое личико лысого школьника лет шестидесяти. Директор прокашлялся, тщательно высморгался в чистый носовой платок и внимательно исследовал результат этого ритуального действия: потом он сложил платок, спрятал его в карман и обратился к нам с речью.

— Как директор этого учебного заведения, я считаю своим долгом и своей прерогативой приветствовать вас в наших стенах и сказать вам несколько слов в напутствие, — начал директор и помолчал, дабы убедиться, что мы его внимательно слушаем. — Чего мы ожидаем от наших учащихся, так это прежде всего послушания и мужества. Послушание означает, что если вам велели что-то сделать так надо это делать и не препираться. А мужество означает, что не надо бежать жаловаться мамочке, ежели вас за непослушание вытянут по мягкому месту.

Сложив за спиной короткие пухлые ручки, директор несколько раз прошел взад и вперед по проходу, задумчиво прильнув подбородком к груди.

— Я особо про это упоминаю, — продолжал он, снова обращая к нам взгляд, — ибо всех вас здесь собрали для того, чтобы вы имели возможность обучиться древнему и почетному ремеслу, которое — мы с гордостью можем это сказать, — которое было прерогативой одной из старейших гильдий в нашем прославленном королевстве. Британский сапог — что британский пехотинец: он лучший в мире. Это гордость наша. Обутые в британскую кожу, мы шли от победы к победе.

В патриотическом порыве директор попытался гордо выпрямиться, насколько ему позволяли рост и

телосложение, и для этого выпятил брюшко, а мы все застыли и вытянулись за своими партами.

— Вот так-то! — сказал он угрожающим тоном. — А теперь давайте проверим, кто тут есть по списку. Каждый из вас, как только услышит свою фамилию, поднимайся и отвечай: «Здесь!»

Директор взял огромный гроссбук, который был классным журналом, раскрыл его и, перегнув в обратную сторону, так что хрустнул переплет, положил на учительский стол. Затем он отвинтил колпачок от своего вечного пера и начал быструю переключку учеников, записанных в алфавитном порядке. Каждый из мальчиков, когда директор провозглашал его фамилию, вставал, как приказано, и должным образом рапортовал о своем присутствии: после этого директор старательно его разглядывал и милостиво разрешал ему снова сесть на место. Первая заминка произошла, когда директор выкликнул ученика по имени «Леони Д.». С парты поднялся болезненного вида мальчик с коротко остриженными черными волосами, торчавшими дыбом. У него был длинный, тонкий нос и волосатые запястья, далеко высовывавшиеся из чересчур коротких рукавов кургузого пиджачка. Директор несколько секунд молча всматривался в него, и мальчик болезненно сжался.

— А что означает это «Д.»? — спросил наконец директор.

— Джулиано, сэр.

— Твой отец, конечно, мороженщик, так вель?

— Нет, сэр, — ответил Джулиано Леони, заморгав темными глазами. — Он официант.

Директор обменялся насмешливым взглядом с мистером Джеймсом и сказал:

— Ладно, садись. Лестер Р.!

Меня все не выкликали и не выкликали, и я готовился к этой страшной минуте, сжав колени, чтобы унять дрожь в ногах. Сейчас я с безнадёжной несомненностью понял, что ни за что не следовало мне поступать в это училище. Когда мы получили от Со-

вета Лондонского графства официальную бумагу, уведомляющую, что мне предлагается место в училище с громким названием «Технический колледж кожаного производства». Я сперва почувствовал себя как осужденный арестант, которому вдруг отсрочили исполнение приговора. Не повернись мне эта возможность, меня бы, подобно другим мальчикам-неудачникам, в четырнадцать лет одели, точно сорокалетнего мужчину, у которого ноги обрезаны выше колен, и выбросили бы на бурлящий рынок труда. Выбор у меня был небогатый и грустный: я мог бы пойти варить клей, или подметать древесную стружку, или таскать в мешках готовую одежду от портных к оптовикам, или сметывать швы, или утюжить складки на брюках, или подбивать одежду мехом, или намыливать мужские подбородки, или развешивать сахар по фунтовым пакетам, или со средней сноровкой складывать свинцовые буквы в строчки набора. В течение первой недели меня стали бы посылать с поручениями за голубиным молоком, резиновыми гвоздями и жиром для смазки локтей, на меня прикрикивали бы, чтобы я вынул руки из карманов и перестал играть в карманный бильярд, или мальчишки-подмастерья, скрутив мне руки за спиной, намазали бы мне член сапожной ваксой. Через неделю я купил бы на свой первый заработок первую пачку сигарет, после чего мне бы не на что было надеяться, кроме как на революцию.

Наоборот, слово «колледж» да еще «технический» связывалось у меня в сознании с чудотворцами-инженерами, Томасом Альвой Эдисоном, героическим студенческим братством и забавными на вид торжественными выпускниками в шапочках с плоским квадратным верхом и кисточкой. Потом я узнал, что выпускник такого «колледжа» становится всего-навсего сапожником. Тоже мне колледж — колледж сапожников! Но тем не менее во мне все же гнездилась отчаянная надежда, что через кожаное

производство я как-то смогу приобщиться к высокому кругу избранных — сильных мира сего.

Директор поправил очки и пристальнее вгляделся в классный журнал. По его лицу было ясно, что он затрудняется произнести следующую фамилию.

— Лиш... веш... Лишвешов...

Он повертел шеей в крахмальном воротничке и оглядел класс.

— Я неправильно прочел?

Он сделал вторую попытку:

— Лин... мин... кин... ов...

Молчание.

— Вот как? У нас какая-то загвоздка? — удивленно сказал директор и снова пристально всмотрелся в журнал. — Может быть, это добрая старая англосаксонская фамилия Левинский?

Раздались смешки. У меня появилось ощущение, что я играю роль, которую долго репетировал. — Ощущение хотя и не такое уж приятное, но в то же время приносящее некоторое удовлетворение. Такое с каждым из нас случалось. Мне было тринадцать лет и десять месяцев: наконец, пришел и мой черед. Как-то, когда в школе у моего брата Эйби на уроке литературы читали по ролям «Венецианского купца», Эйби отказался читать за Шейлока: он объяснил, что это оскорбляет его национальные чувства. Шесть раз Эйби был бит тростью по ладоням, и шесть раз он отказывался. И Эйби, которому тогда было всего двенадцать лет, на целую неделю сделался для всего квартала героем. И вот теперь для меня тоже пришла пора выдержать свой искуc: но вокруг себя я видел одни лишь незнакомые лица, и наш квартал был далеко. Мне предстояло в одиночестве пройти через суровое испытание. Все смотрели и ждали — с необыкновенным, как мне казалось, терпением. Неожиданно я почувствовал, что мочевого пузыря у меня угрожающе наполнился. Я поднял руку.

— Простите, сэр, — попросил я, — можно мне выйти?

Мистер Джеймс неодобрительно кашлянул и вопросительно взглянул на своего начальника.

— Как твоя фамилия, мальчик? — спросил директор, посмотрев на меня без всякого выражения.

— Моя, сэр? — Чтобы произнести свою фамилию, мне пришлось глотнуть воздуха. — Литвинов, сэр.

— Вот как? А ты случаем не тугой на ухо?

— Нет, сэр.

— Так почему же ты не встал, когда тебя выкликали?

— Я... я... я... Нет, сэр... Меня не выкликали.

Директор озадаченно оглядел класс.

— А вы все, вы случайно не слышали, как произносилась его фамилия?

Ученики нестройным гулом подтвердили, что, дескать, да, слышали.

— А вы, мистер Джеймс?

— Я тоже слышал, мистер Слопер. Очень ясно слышал.

— Ну, вот, мальчик. Ты, должно быть, о чем-то мечтал. Так дело не пойдет — понимаешь? Где угодно, только не в нашем колледже!

В тоне его голоса была мягкость, терпимость и легкая насмешка.

— И еще одно. Мальчик, который хоть чего-нибудь стоит, должен научиться сдерживать свои животные инстинкты, пока не будет перемена. Понял?

В этот момент самое страшное было для меня то, что до перемены оставалось еще порядочно времени. Я уже совершенно забыл, каким героем я себя повел, не отзываясь на свою исковерканную директором фамилию: теперь, к моему стыду, разговор перешел на низменную, постыдную тему, в которой не было ничего героического. Кроме того, я боялся, что долго не выдержу.

— Да, сэр, — простонал я и подумал: «Ради Бога, скорей!»

На толстых, румяных щеках директора появились две ямочки, и в глазах блеснул лукавый огонек.

— Ну, что ж, молодой человек. — сказал он весело, а затем неожиданно добавил: — Туалетвинов!

Класс грохнул, и тут случилось нечто необыкновенное. Видно, Господь в этот миг глядел на меня. Он осенил мою главу благословением, и желание облегчиться, как по волшебству, совершенно прошло. Я медленно поднялся, мучительно подыскивая какую-нибудь убийственную фразу. — подобно тому, как, должно быть, Давид лихорадочно искал камень для своей пращи, чтобы поразить Голиафа... Ну!.. Ну!..

Однако мне так ничего и не пришло в голову, ни одного осмысленного слова, кроме...

— Мудаки! — завопил я и ринулся вон из класса.

— Держите его, мистер Джеймс! — изрыгнул из себя директор.

Мистер Джеймс догнал меня в коридоре, крепко схватил за руку и повел в какую-то комнату. По стенам комнаты были развешаны загадочные трофеи. В большом стеклянном ящике с окантовкой из красного дерева лежали образцы ботинок, и в комнате пахло свежесмазанной кожей.

— Хорошо же ты начинаешь учебный год, сынок! — сказал мистер Джеймс.

Он уселся на край стола и стал покачивать в воздухе правой ногой, однако, когда в комнату вошел директор, мистер Джеймс поспешно вскочил и сказал, что ему нужно сейчас же вернуться в класс: он явно хотел показать директору, какой он усердный и как любит свою работу.

Директор потер ладонь о ладонь.

— Хорошо, идите в класс, — ответил он. — Они там сидят тихо и спокойно ждут.

Когда мистер Джеймс удалился и я остался наедине с директором, он спросил:

— Может быть, у тебя слабое сердце? Или есть

еще какая хворь, так что тебе может повредить телесное наказание?

— Н... нет, сэр.

— Хорошо. Встань вот тут.

Он указал мне на место в центре ковра, изрядно истертое подошвами многих провинившихся.

Затем мистер Слопер прочел мне краткую и суровую лекцию. Я нарушил дисциплину. Непослушания он не потерпит. В этом колледже все должны вести себя так, как подобает британцам. Мне придется либо смириться, либо пенять на себя.

— Мне это никакого удовольствия не доставляет, — завершил свою речь мистер Слопер. — Можешь мне поверить, меня вовсе не радует, что приходится кого-то из вас наказывать.

В углу комнаты стояла стойка для зонтиков, а в ней — несколько тростей. Директор выбрал одну из них — средней толщины — и пару раз хлестнул ею в воздухе, чтобы проверить ее гибкость: виш, виш! Удовлетворенный, он велел мне нагнуться вперед, сдвинуть ноги и пальцами коснуться носков ботинок.

Его и без того румяное лицо еще больше покраснелось. С каждым ударом я выпускал стон, и директор тоже выпускал стон. Казалось, когда он меня сек, ему и впрямь было еще больнее, чем мне.

Наконец, наказание окончилось, и я заковылял в уборную. Там я долго писал прямо на стенку. Ягодицы у меня горели, словно на них выжгли тавро каленым железом. Замкнувшись в кабинке, я спустил штаны и долго обмахивал свой пылающий зад, клянясь себе, что когда-нибудь я страшно отомщу мистеру Слоперу. Затем я смахнул слезы и вымыл лицо на раковине.

И — обратно на поле битвы.

В «кожевенном колледже» я усвоил болезненный урок: когда начинают отделять овец от козлиц, первым делом всегда ищут козла отпущения. В среднем раза два в неделю мне приходилось становиться на истертое подошвами место на ковре, наклоняться

вперед и пальцами касаться носков ботинок. Мистер Джеймс бил меня за то, что я неряха (у меня под партой нашли раздавленную каблук сардинку), за то, что я теряю орудия труда (скоблильный нож ценой в шесть пенсов), за то, что, когда меня спрашивают, я непочтительно молчу, или за то, что, когда меня спрашивают, я непочтительно отвечаю, за то, что я в классе сосу леденцы, и за то, что я нарушаю дисциплину, подставляя ухо под запущенный кем-то бумажный шарик, — ну, и за прочие важные прегрешения.

Если порку изволил производить сам директор собственной персоной, это обставлялось торжественно и чинно, как подъем государственного флага, и потому такие церемонии случались довольно редко, а обычно обязанность пороть провинившихся возлагалась на учителя. Удостоившись высокой чести принять порку от руки директора в первый же день занятий, я поставил своего рода рекорд. Но обиднее всего мне было, когда меня наказали за то, что я будто бы списал работу у одного совершеннейшего придурка по фамилии Саггер: меня обвинили в том, что я списал у него сочинение на тему «Значение обуви в труде и развлечениях». Я клялся, что не списывал, но это только добавило масла в огонь: не пристало истинному британцу лгать и отрицать свою вину. Наказание не ограничилось поркой: меня, кроме того, посадили одного на заднюю парту. Прокляженный Литвинов!

Выходить вместе со всеми на площадку для спортивных игр было для меня пыткой. Я считал себя счастливым в тот день, когда меня никто ни разу не толкнул, не подставил мне подножку или не насыпал мне за шиворот порошка, вызывающего зуд. Во время игры в крикет Том Гриндл — один из наших самых быстрых игроков — любил запускать мячи мне прямо в голову, и однажды он ударил с такой силой, что у меня искры из глаз посыпались. Когда я выронил бит, чтобы протереть слезящиеся глаза, мистер Джеймс выразил сомнение относительно

моей принадлежности к мужскому полу. Но самым унижительным — тем, что капля за каплей вливалось мне в душу ненависть. — было ужасное прозвище, которое на меня наленили: Писовский.

Как-то в дождливый день, когда вдоль улиц струились вязкие потоки воды, смешанной с грязью, словно весь Лондон кровоточил в сточные канавы, все наши ученики во время перемены сгрудились во дворе под легким навесом, а я оказался один под дождем. Было ужасно холодно. Я постарался как можно незаметнее пристроиться к толпе под навесом.

— Писовский, пошел вон! — крикнул кто-то.

Крик подхватили все остальные: возник повод чуть-чуть повеселиться.

Я взорвался, как бомба. Раздавая вокруг удары и пинки, истошно визжа, я врезался прямо в мягкую массу сгрудившихся тел. Неожиданность моего яростного нападения застала мальчишек врасплох, и они, оторопев, попадали друг на друга, в бессмысленном страхе молотя вокруг себя кулаками. Немедленно появился кто-то из учителей и наугад выхватил из кучи тел четырех нарушителей — первых, кто подвернулся под руку. При моем-то обычном везении, само собой, я оказался одним из пострадавших. Другим был Гриндл. Всех четверых выпороли. Потирая горевшую задницу, Гриндл негромко сказал:

— Ну, погоди, жиденок, ты еще у меня получишь! Я тебе еще покажу, падлю!

Однако было бы несправедливо утверждать, что в этой травле принимали участие все без исключения ученики или даже учителя. Иной раз случалось, что кто-нибудь втихомолку пытался меня ободрить, вел себя дружелюбно. Но само училище осталось у меня в памяти как сплошной кошмар. Как только я входил в ворота, я оказывался на вражеской территории. В классах было всегда неестественно тихо и спокойно. В мастерской тоже никто не произносил лишнего слова — хотя бы потому, что трудно говорить,

когда держишь в зубах гвозди. Все необходимые указания давались нам холодным, негромким голосом — так, наверно, тюремщики отдают приказы заключенным, — и работа наша казалась нам не более осмысленной, чем если бы мы щипали паклю. За то короткое время, что я провел в училище, я не научился ничему более сложному, чем зачищать куски кожи; и никто из нас ни разу не сшил настоящего ботинка. Каждый день мы делали что-то, совершенно не связанное с тем, что делали накануне. Я спасался от монотонности учения и работы тем, что погружался в свои мечты, и к действительности я возвращался, словно из долгого путешествия. Собственно, я настолько приучился грезить наяву, что иной раз мне казалось, будто училище — это вовсе не что-то реально существующее, а плод моего извращенного воображения.

Был у нас в классе еще один одинокий мальчик — Джулиано Леони, которого прозвали Студеный-Ядреный. Это прозвище пошло от криков итальянцев-мороженщиков, которые ходили по улицам и голосили во всю мочь: «Студеное-ядреное, по пенсу штука!» С Леони никто не дружил — но никто его и не обижал. Видимо, дело тут было в том, что итальянцев все побаивались: считалось, что итальянец, с его-то южным темпераментом, всегда готов, чуть что, воткнуть любому нож в живот. Как раз в это время были в моде чикагские гангстеры с накладными боксерскими плечами и неизменными сигарами в зубах; гангстеры, ухмыляясь, забавлялись с пышными красотками и покрывали трупы своих жертв огромными венками цветов. Кое-какие из легендарных свойств этих романтических бандитов приписывались всему братству любителей макарон, хотя трудно было бы представить себе человека, менее похожего на зловещего Аль-Капоне, чем тощий очкарик Джулиано Леони — тихий, чрезмерно взрослый для своего возраста мальчик, который выглядел так, словно всю свою жизнь он уже прожил заранее.

Первые две-три недели после начала занятий мы с Леони проходили мимо друг друга с таким безразличием, словно жили на разных планетах. А затем однажды во время большой перемены я пошел в кафе выпить чаю с захваченными из дому сэндвичами, и Леони сидел там за единственным столиком, за которым было свободное место. Между нами сидел дюжий мясник в запачканном кровью переднике, он уминал гигантский бифштекс с жареной картошкой. Леони развернул кусок салами, разрезал его перочинным ножом на тонкие дольки, открыл небольшую банку маслин и спокойно принялся за еду. Кончив есть, он закурил сигарету и блаженно затаился с видом знатока. На меня это произвело сильное впечатление.

— Ты уже куришь? — спросил я.

Леони изящным жестом стряхнул с сигареты пепел и ответил, цинично улыбнувшись:

— Само собой. Мне же уже больше четырнадцати. Мясник широко осклабился:

— А как насчет баб? Уже перепихнулся с кем-нибудь?

Горшее лицо Леони покрылось краской, но он промолчал.

— А я нонче всю ночь трахал одну бабенку, — сказал мясник. — Хочешь попробовать?

Так ничего и не ответив, Леони смял сигарету в пепельнице, встал и вышел из кафе. Я последовал за ним. Мы пошли рядом по Фаррингдон-род. У лотков букинистов толпился народ, высыпавший на улицу в обеленный перерыв. Несколько фабричных работниц с выщипанными бровями и ярко-алыми губами кучкой сидели на низкой ограде, притворяясь, что не слышат грубоватых комплиментов, которые им отпускали небритые собратья-рабочие. С находящегося неподалеку железнодорожного полотна доносилось тарахтенье поездов. Где-то играл раздрызганный граммофон: хриплое сопрано придавало солнечному

дню какой-то особый ритм. Была весна: я шел не один; я отлично себя чувствовал.

— Тебе нравятся англичане? — вдруг спросил Леони, нахмурившись.

Я удивленно поглядел на него.

— Я и сам англичанин.

— Так почему у тебя польская фамилия?

— Она не польская. Литвинов — это известная русская фамилия. Весь мир это знает.

Леони молча прошел несколько шагов, глубоко засунув руки в карманы и ссутулив плечи: должно быть, он обдумывал ответ.

— По мне, так ты на англичанина не похож, — сказал он наконец. — Том Гриндл всем говорит, что ты еврей из Уайтчепела.

— Мулак твой Гриндл! А Уайтчепел — это что, за границей, по-твоему, что ли? Уайтчепел — это часть Лондона, а Лондон — это столица Англии. И очень многие евреи — англичане.

Я мог бы добавить, что евреи — это англичане высшего сорта. Они чище, умнее, трезвее, трудолюбивее, дружнее, то есть это самые лучшие среди англичан.

— Некоторые из очень знаменитых англичан были евреи, — пылко добавил я, лихорадочно роюсь в памяти в поисках подходящего примера. — Ты когда-нибудь слышал про полковника Киша?

— Полковника — как?

— Он был один из самых великих героев войны...

— Ладно, а орать зачем? — мягко прервал меня Леони и заговорил о чем-то другом.

Когда мы познакомились поближе, я обнаружил, что, хотя Леони родился в Лондоне — в итальянском районе под названием Сэффрон Хилл, — своей родиной он считал Флоренцию, откуда происходили его родители. Англичан он презирал, потому что итальянцы, по его словам, чище, умнее, трезвее, трудолюбивее, дружнее и религиознее. До того, как в Англию вторглись итальянцы-римляне под предво-

дительством Юлия Цезаря, англичане не умели читать и писать, не знали никаких законов, одевались в звериные шкуры и то и дело убивали друг друга. Леони собирался, как только вырастет, вернуться во Флоренцию, которую он никогда не видел, и сделаться там первоклассным сапожником. Итальянцы, говорил он, куда лучше умеют тачать сапоги, чем англичане.

Однажды он пригласил меня к себе домой. Он жил в темной, совершенно непроветриваемой квартире в убогом, уродливом квартале на Кларкенуэлл-род: чтобы хоть как-то заглушить в квартире шум уличного движения, окна были занавешены тяжелыми пыльными шторами. Отец Леони, работавший в ночную смену, сейчас спал в нише, закрытой ширмами. В квартире суеилось множество смуглых усатых женщин; у них у всех были огромные отвислые груди и черные волосы, перехваченные лентой, все они громко тараторили на странном языке, и мне казалось, что они все время ссорятся. Многое тут мне сразу же напомнило мой собственный еврейский мирок, только у итальянцев повсюду были развешаны изображения святых и распятия, а из кухни доносились незнакомые запахи, совсем не такие, к каким я привык у себя. Мне стало понятнее, почему Леони в отличие от меня не считает себя англичанином.

Итак, у меня появился друг, и это означало, что дела мои начали идти на лад. Каждое утро я уходил из дому и проделывал путь в училище, прицепившись к кузову попутного грузовика. Я научился курить, и деньги, которые мать выдавала мне на автобус, уходили на сигареты. Меня больше не мучило от запахов Смитфилдского рынка. Я стал смелее и увереннее в себе. В класс я входил, как одинокий техасский рейнджер входит в салун, где сидят его враги, — сузив глаза, широко расставив ноги, положив руку на воображаемую кобуру шестизарядного кольта. Я стал забавляться тем, что блистал непрошенной эрудицией. Стоило мистеру Джеймсу задать в классе

какой-нибудь что ни на есть обыкновеннейший вопрос, как я начинал ни к селу, ни к городу нагло демонстрировать самые неуместные познания, почерпнутые мною в публичной библиотеке на Бетнал-Грин.

— А ну-ка, спросим Умника Дика, — начинал мистер Джеймс, и все, затаив дыхание, замолкали в предвкушении удовольствия. — Эй, ты там, на задней парте: почему Ланкашир сделался центром хлопковой промышленности?

— Дело тут в том, — медленно отвечал я, смакуя каждое слово, — что при прядении хлопка необходимо предотвратить разрыв волокон, а этого легче всего добиться в условиях повышенной влажности воздуха. В Ланкашире очень высокий уровень атмосферных осадков, и поэтому Ланкашир представляет собой идеальное место для изготовления хлопчатобумажной ткани. Кроме того, сэр, во время Промышленной революции в Англии очень широко использовался детский труд. Как свидетельствует Карл Маркс...

— Ладно, это к делу не относится, — сердито прерывал меня мистер Джеймс, и я с довольной ухмылкой садился на место.

Так проходили недели за неделями, и мне уже начинало казаться, что я закончу учебный год живой и здоровый. И когда мне исполнилось четырнадцать лет, я задумался о том, что меня ждет впереди. Ни один день рождения не имел для меня такого огромного значения. Теперь, если директор захочет меня выпороть, я смогу с радостным нахальством щелкнуть у него перед носом пальцами и, расхохотавшись ему в лицо, с беззаботным видом навеки уйти из училища. Но что потом? Хотя внутренне я был твердо убежден, что где-то меня непременно ожидает замечательное будущее — точно готовый костюм, ожидающий покупателя, — тем не менее, будучи классово-сознательным подростком и регулярно читая «Дейли Уоркер», я отлично знал, что ры-

нок труда переполнен четырнадцатилетними мальчиками, которых капиталистические акулы нанимают лишь на самую гнусную работу и безжалостно эксплуатируют. С другой стороны, если я продам презренной капиталистической системе и останусь в училище еще на один год, меня ожидает определенное вознаграждение. И, может статься — кто знает? — когда-нибудь к нам в училище приедет какой-нибудь влиятельный инспектор из отдела народного образования, и он войдет в наш класс как раз в тот момент, когда я буду со знанием дела объяснять своим одноклассникам эйнштейновскую теорию относительности, и тогда инспектор позовет мистера Слопера и скажет:

— Кто этот многогранно образованный молодой ученый? Я желаю знать, почему он попусту тратит здесь время, вместо того чтобы готовиться к поступлению в Оксфордский университет, где его ждет блестящее будущее?

Столь важное в моей жизни событие, как достижение четырнадцатилетнего возраста, побудило меня тщательнее, чем прежде, оглядеть свою собственную персону в большом материнском трельяже. Переломной предстал не по возрасту вытянувшийся мальчик, у которого руки чересчур далеко торчали из рукавов, а брюки открывали лодыжки гораздо больше, чем было прилично. В анфас нос не выглядел слишком длинным и был точь-в-точь на том месте, где нужно, но губы у мальчика были толстоваты — почти как у негра, зубы великоваты и с провалом посередине, и одна дужка очков привязана ниткой. Разочарованный, я отступил на несколько шагов, отвернулся, а потом быстро повернулся к зеркалу снова, словно пытаюсь поймать свое изображение врасплох и взглянуть на него глазами незнакомца. Изображение ответило мне горьким, неуверенным взглядом. Оно явно не было отражением мальчика, который преуспевает в жизни.

— Мне, наверно, надо бы бросить училище и

пойти делать карьеру, — с нарочитой небрежностью сказал я в тот вечер за ужином.

Мой отчим в изумлении поднял на меня глаза.

— Карьеру? — У него в горле заклокотал смех. — Какую такую карьеру? В банке, что ли?

Когда закончились обычные упреки, он сказал, что, может быть, сумеет подыскать мне работу в портняжном бизнесе. Мать дала мне кусок сыра толще обычного и с мечтательной нежностью сказала, что желает мне самого наилучшего: здоровья, богатства и счастья. Эйби сообщил, что в витрине какой-то бакалейной лавки на Брик-Лейн он видел объявление: там требуется мальчик с велосипедом, чтоб развозить товар, и Эйби добавил — со своим обычным грубым юмором, — что я мог бы в этой лавке дослужиться до чина главного подметалы. Я пнул Эйби под столом ногой, он пнул меня в ответ. Дядя Солли, мрачно сворачивая самокрутку, заметил, что мне вскоре предстоит понять: жизненный путь человека отнюдь не усыпан розами.

— Ну, зачем ты кладешь на ребенка заклятье? — закричала моя мать, яростно вонзая нож в краюху хлеба.

Но мое истинное проклятье — это нерешительность; и если я вообще предпринимаю какие-то действия, то всегда оказывается, что я выбрал для них самый неудачный момент. Я начал в училище дерзить учителям и нарочно нарушать дисциплину в надежде, что это приведет к каким-нибудь серьезным последствиям — меня вышибут из училища; но никаких последствий не было, кроме обычной порки. Сам директор перестал оказывать мне персональные знаки внимания и теперь без затруднений произносил мою фамилию. Собственно говоря, обращался он ко мне только тогда, когда этого совершенно нельзя было избежать, и при этом он обычно отворачивался, словно даже вида моего не мог выносить. О, если бы только они начали меня пытаться, чтобы на-

сильно обратить в христианство, или попробовали заставить меня есть свинину!

Но сколько веревочке ни виться, а конец найдется — и в моем случае конец наступил тогда, когда был задет принципиальный вопрос. Это случилось как-то утром в понедельник во время перемены. Мы с Леони, как обычно, отделились от остальных учеников и уединились в углу двора, где поспорили об итальянских фашистах, которые, как я незадолго до того узнал, вливали в горло коммунистам касторовое масло. Леони засунул руки в карманы и стал хмуро кружить вокруг меня.

— Так этим коммунистам и надо! — сказал он свирепо. — Посмотри только, что они сделали в твоей стране! Они же убили всех священников!

Кто-то запустил в нас мячом. Я поймал его и отправил обратно.

— В какой это *моей* стране?

— В России. У тебя на родине. Ты все твердишь: «Я англичанин, я англичанин!» Подумаешь! Даже китаец может родиться в Лондоне.

— Тогда он будет английским китацем. — сказал я.

Леони вынул мятый носовой платок и презрительно высморкался. Его длинная тень причудливо изогнулась на кирпичной стене.

— Ты фашист? — спросил я, поднимая брови (Бац! Удар в солнечное сплетение).

— Все итальянцы — фашисты, и они гордятся этим, — ответил Леони. — *Dei et Patria!* Муссолини — молодец! Уж он-то перестреляет всех коммунистов!

До того я ни разу не встречал живого фашиста и думал, что если встречу, то обязательно замечу в его внешности признаки жестокости и вырождения. Но у Леони не было даже прыщей.

— Тебе нравится Муссолини? — задохнулся я. — Несмотря на то, что он сосет кровь рабочих?

В темных глазах Леони вспыхнуло какое-то зата-  
Богиродина(итальян.).

енное пламя. Затем он сунул мне в лицо комбинацию из трех пальцев и пошел было прочь.

— Муссолини — мерзавец! — крикнул я ему вслед.

Леони резко повернулся на каблуках, злобно взглянул на меня и толкнул меня в плечо. Я тоже толкнул его в плечо. Мы оба осторожно сняли очки, чтобы показать, что шутки в сторону. В это время к нам приблизился мой главный враг Гриндл с оравой других учеников.

— В чем дело, Студеный-Ядреный? — процедил он сквозь зубы. — Ты со своим корешом чего-то не поделил?

— Он... он оскорбил мою страну, — простонал Леони.

— Ах ты жид проклятый! — сказал Гриндл. — Катился бы к себе в Палестину!

Я подался вперед, выпятив подбородок и сжав кулаки, в надежде напугать своих врагов. Иногда это помогало, но на этот раз не помогло.

— Погляди-ка на него: ну, ни дать, ни взять Тед Кид Льюис! — издевательски взвизгнул Гриндл, и Леони взглянул на него с благодарностью. — А на самом-то деле мускулы у него — как у дохлого воробышка, а залупа — как очищенный банан!

Ободренный рукоплесканиями, которыми он был награжден за свое остроумие, Гриндл танцующей походкой приблизился ко мне и попытался нанести мне удар слева в челюсть, но я уклонился и злобно посмотрел на него исподлюбя.

— А ну, устройте боксерский матч! — крикнул кто-то.

— Да он того не стоит! — отмахнулся Гриндл.

— Да ну тебя, Том! Ведь ты же его — одной левой...

Гриндл все еще колебался. Опустив кулаки, я попытался взглянуть на него с выражением презрительного безразличия. У Гриндла было бугорчатое лицо завязанного драчуна, и он уже начинал бриться.

Злорадно ухмыляясь, он лениво заметил:

— Ну, что ж, ладно! Мы еще встретимся после уроков, Писовский!

Но тут же вокруг раздались крики:

— Нет, сейчас, сейчас!

Со зловещим спокойствием Гриндл вынул из кармана жилетки большие часы, внимательно поглядел на них и, нахмурившись, сообщил:

— У нас есть восемь минут. Ладно.

Я сделал ошибку, не поторопившись сразу же его ударить. Не успел он положить часы обратно в карман, как сделал выпад и двинул меня кулаком в челюсть. Дернувшись, я уголком глаза увидел Леони, вид у него был жалкий и виноватый.

Гриндл тут же, не мешкая, ударил меня снова. Я схватил его за пиджак и сильно дернул, и он каким-то чудом не удержал равновесия и упал. Оба мы были одинаково удивлены, но он к тому же почуял неведомую опасность.

— Смотри-ка, он знает приемы джиу-джитсу! — воскликнул кто-то, и я уже было возликовал, преждевременно почувствовав себя победителем.

— А ну, Гриндл, вставай! — приказал он. — Что тут происходит?

В этот момент во дворе появился мистер Джеймс. Увидев нас в углу двора, он опрометью устремился к нам, так что его длинные светлые волосы развевались по ветру, как вымпел; подбежав, он ретиво вклинился в центр толпы. Все расступились, и мистер Джеймс сначала изумленно взглянул на меня, а потом перевел взгляд на моего противника.

Гриндл не ответил, как подобает настоящему спортсмену, но кто-то из учеников радостно сообщил, что мы с Гриндлом устроили боксерский матч.

— Боксерский матч? Ну, что ж! — сказал мистер Джеймс, не пытаясь скрыть своего удовлетворения, и, кажется, впервые взглянул на меня с уважением. — Хорошо! Это по-настоящему спортивный способ отделяться от дурной крови. Но устраивать бок-

серский матч нужно по всем правилам. Я поговорю с директором, и мы все организуем официально. — Он приятельски улыбнулся нам обоим. — Приходите в половине пятого в спортзал, и там вы получите полную возможность вышибить друг другу мозги. Если они у вас есть. Я сам буду судьей матча.

После этого в течение всего дня меня волнами обдавали то надежда, то страх — но чаще страх. У меня появились неприятные признаки какого-то странного недомогания: мне не хватало воздуха, я ощущал у себя в желудке огромную дыру, в которую, казалось, руку можно было просунуть, я никак не мог сосредоточиться, сердце билось часто-часто, словно с трудом накачивало в меня кровь откуда-то извне, меня постоянно мутило, и я все время хотел в уборную за малой нуждой.

В половине пятого мистер Джеймс улыбнулся и кивнул мне:

— Ну, как, парень, чувствуешь себя в форме?

Я слабо кивнул в ответ и дрожащим голосом сказал:

— Да.

И мне показалось, что погода чересчур холодная, не по сезону.

В спортзале собралось все училище. Пока мы с Гриндлом раздевались до трусов и маек, ученики и учителя расселись вдоль стен. Затем мистер Джеймс спросил, кто хочет быть моим секундантом, и тут случилась заминка: все устрашающе молчали. Мистер Джеймс повторил свой вопрос. У меня за спиной послышалось движение: кто-то пробирался сквозь толпу. Это был Леони.

— Я буду секундантом, — сказал он негромко.

Не знаю, почему он вызвался, но когда он завязывал на мне тяжелые боксерские перчатки, он ни разу не взглянул мне в глаза, как бы этим показывая мне, что его согласие быть моим секундантом отнюдь не означает возобновления нашей дружбы.

Я хотел теперь только одного: чтобы — хорошо ли, плохо ли — все это поскорее кончилось. Однако

нельзя было начинать матч, пока не пришел директор. Вскоре он появился — он семенил быстрыми шагами, как занятой человек, прибывший выполнить ответственную обязанность, и сел на заранее приготовленный стул, поставленный для него мистером Джеймсом на почетном месте, у самого ринга.

— Ну, сюда, ребята! — воскликнул мистер Джеймс, приглашая нас выйти в центр ринга. — Каждый тайм будет длиться две минуты, бокс по обычным правилам. То есть, — добавил он предостерегающе, — матч прекращается в случае нокаута или если кто-нибудь признает себя побежденным. Или если кто-нибудь, по моему суждению, будет слишком сильно избит, чтобы продолжать матч.

Он ободряюще хлопнул каждого из нас по спине, и матч начался.

Пока мы осторожно двигались по направлению друг к другу, я заметил, что Гриндл нервничает. Мышцы у него на щеках набрякли, и глаза неуверенно рыскали по сторонам. Это меня приободрило, и я, размахивая кулаками, яростно ринулся вперед. Гриндл прислонился к канатам и прикрылся локтями. Если не считать шума ударов кожаных перчаток, в зале стояла мертвая тишина: зрители были обескуражены малодостойным поведением своего фаворита. Я почувствовал прилив уверенности. Гриндл обвил мне руками шею и жарко задышал мне в лицо. Я стал дубасить кулаками по телу своего противника, и мистер Слупер недовольно скривился.

— Перерыв! — заявил он, раздраженно взглянув на мистера Джеймса.

— Перерыв! — во всю мощь своих легких прокричал мистер Джеймс.

Как только кончился перерыв, Гриндл сразу же двинул меня по носу. Удар у него был сильный, и у меня из носа ручьем хлынула кровь. Я отпрянул и зашатался, и зрители разразились восторженными воплями, а у меня в голове зазвонили рождественские колокола. Гриндл ударил меня еще раз, и еще раз, и

на его расплывшемся лице появилось выражение радостного возбуждения.

В поднявшемся оглушительном шуме я почувствовал себя совершенно беспомощным и покорился своей судьбе. Все орали, и, возможно, кто-то пытался подбодрить и меня, но мне в это что-то не верилось. Гриндл бил меня, а я — я сражался с ними со всеми. И где-то в глубине души я понимал: такой борьбы мне не выдержать.

Во время следующего перерыва Леони, вытирая платком мой кровоточащий нос, наклонился ко мне и прошептал:

— Ты бы лучше сказал, что сдаешься. Он же тебя убить хочет.

Но я продолжал беспорядочно махать кулаками, отчаянно пытаюсь хотя бы защититься от ударов Гриндла. В какой-то момент я нанес удачный удар, попав противнику в глаз, или, точнее, это был неудачный удар, ибо Гриндл, рассвирепев, удвоил натиск и загнал меня в угол. В его красных глазах я увидел лютую злобу. Гриндл и вправду пытался меня убить. Даже если бы я мог переломать ему все кости, я не в состоянии был бы погасить его взгляд, полный ненависти.

Меня пронзила отчаянная боль: Гриндл ударил меня в живот. Затем он ударил меня в лицо, в грудь, в голову...

— Хватит! — сказал мистер Джеймс, оттаскивая меня от Гриндла.

Сквозь кровь, заливавшую мне глаза, я увидел, что лицо мистера Джеймса скривилось; может быть, это была жалость. Но мистер Слопер улыбался.

На следующий день я не пошел в училище — и больше я туда не вернулся. Мне уже было четырнадцать лет и три недели. Прогуливаясь в одно прекрасное утро по Барбикен-стрит, в районе Клеркенуэлл, я увидел на дверях какого-то дома объявление:

«Требуется сильный подросток на производственное обучение. Обращаться на третий этаж».

Начиналось лето — сезон пушной торговли. Я храбро расстался с ласковым солнечным светом и, войдя в подъезд, стал подниматься по мрачной лестнице.

## 9. Бог, которого я предал

Я вплыл по течению в коммунизм, когда мне было около одиннадцати лет, — под влиянием боевитого мальчика по имени Микки Лернер. Этот Микки был щуплый и крошечного роста, его мучил хронический кашель, и над ним измывались все, кому не лень, — и учителя и ученики. Отец его — по профессии гладильщик — тоже беспрестанно кашлял, потому что в легких у него засели волокна дымящейся ткани, которую он с утра до вечера утюжил по десять часов в сутки. Собственно говоря, вся семья Лернеров кашляла. Они жили в спертom воздухе улицы Брик-Лейн, прямо над их домом проходил виадук надземки, и в квартире у них всегда был полумрак, она то и дело сотрясалась от грохота пронесившихся мимо поездов, и все Лернеры имели привычку при дневном свете моргать, как троглодиты; поэтому они казались на первый взгляд людьми робкими и запуганными, хотя на самом деле это было на редкость крепкое и жестоковейное племя. Нищета и упорство Лернеров больше сделали для того, чтобы привлечь меня к коммунистическому движению, чем даже мои собственные злоключения.

Когда мы с Микки Лернером учились в школе, его часто секли за непослушание, связанное с идеологическими причинами, — например, за то, что он отказывался вместе со всеми петь песню «Край надежд и славы». Когда на его ладонь с хрустом опускалась учительская трость, из его сжатых посиневших губ вырывался какой-то свистящий звук, а мышцы на тощей шее напрягались, однако не было в мире силы, которая могла бы заставить Микки петь эту песню. Я был слишком труслив, чтобы подражать героическому поведению Микки, и, чтобы успокоить свою

совесть, выводил губами слова известной пародии: «Край конфет и крема — мама, дай поесть», — но сразу же переходил на подлинный текст, как только учитель взглядывал в мою сторону. Это, конечно, было не что иное, как фига в кармане, поэтому я старался проявлять свою революционность другими способами: например, тем, что на внутренних сторонах корешков библиотечных книг отважно писал: «Долой класс капиталистов!», или тем, что вступил в пионерскую организацию.

Наша пионерская ячейка собиралась раз в неделю в задней комнате магазина подержанной мебели на Уайтчепел-род; в комнате густо пахло пылью, плесенью и лежалой кожей, и эти запахи, отпечатавшиеся в памяти, навсегда стали ассоциироваться у меня в сознании с коммунистическим учением. Руководил нашей ячейкой некий товарищ Билл — дюжий рыжеволосый мужчина в жеваном костюме и галстуке, перекрученном, как корабельный канат, но зато изъяснявшийся по-английски с изысканным аристократическим произношением, точно начальник отряда бойскаутов. Товарищ Билл преподавал нам основы теории классовой борьбы: он рассказал, что в Бразилии капиталисты, дабы сохранить высокие цены на кофе, сжигают кофейные зерна, открыл нам глаза на то, как международные компании по производству вооружения ради получения сверхприбылей разжигают войны, доказал нам, что религия — опиум для народа, и так далее.

Однажды товарищ Билл попросил детей-евреев поднять руки. Руки поднимали почти все.

— А вот в Советском Союзе, — сказал товарищ Билл с добродушной улыбкой, — антисемитизм полностью ликвидирован.

После этого он объяснил, что еврейских трудящихся эксплуатируют богатые еврейские капиталисты, которые мать родную продадут за золото.

— Однако вы не беспокойтесь, — закончил он. — После революции не останется никаких евреев, будут только рабочие.

Обрадованные этим прекрасным видением, мы хором спели песню «Бандьера росса».

Итак, зерна новой веры были посеяны в моей душе, и они взошли быстро, как побеги спаржи. В четырнадцать лет, когда я уже пошел работать, я некоторое время пробыл, в частности, учеником на предприятии по изготовлению женского готового платья, а эта отрасль промышленности была в то время очагом недовольства и классовых волнений. В мастерской пожилые портные сидели, скрестив ноги, на своих скамеечках и угрюмо орудовали иглами или жевали сэндвичи с чесночной колбасой, ожидая — в зависимости от своего умонастроения — либо прихода Мессии, либо красного дня страшного суда. И я тоже готовился к такому апокалипсису.

Сейчас, вспоминая те годы, я понимаю, что мой коммунизм вовсе не был правоверным коммунизмом Маркса и Ленина. Я пытался читать «Коммунистический манифест», но слова роились у меня в мозгу, как мухи над помойкой, и в голове у меня не только не прояснялось, но становилось еще сумбурнее. За год — с четырнадцати до пятнадцати лет — я вытянулся на пять дюймов, меня мучили плотские желания, и все мои железы развили бешеную активность. Наибольшую чувствительность проявляли слезные железы: глаза мои наполнялись влагой по малейшему поводу — когда я встречал бездомную кошку, или когда глядел на полную луну, или когда видел собственное грустное лицо в зеркале, или когда слушал, как по радио Бинг Кросби жалобно поет о неразделенной любви. И коммунизм стал для меня противоядием от всех этих вещей, он спасал меня от сентиментальности: с его помощью какой-нибудь обтрепанный бродяга, налакавшийся джина, представлялся мне элегантным, как принц Уэльский, клопы, выползавшие из-под обоев, превращались в радужных бабочек, и, до отказа набивая желудок консервированными ананасами, я мечтал о том, как я героически погибну на баррикадах и воскресну в любя-

щем объятии златоволосой девушки, которая где-то в этом мире ждет только меня одного.

Тем временем я завершил свое политическое образование в пионерской ячейке и стал настолько классово-сознательным, что был признан достойным вступить в комсомол. В комсомольской организации я познакомился с Ханной Фишбейн и стал каждый раз краснеть, как только видел ее ласковую улыбку, девчачьи веснушки и пухлые молодые груди. На комсомольских собраниях ее наэлектризовывающее присутствие раззадоривало меня, и я проявлял отчаянную политическую активность. Я добровольно вызывался делать все что угодно: продавать на улицах «Дейли Уоркер» в холодные январские вечера по шесть дней в неделю, перевозить на тачке с места на место деревянные трибуны, с которых должны были выступать другие, более ответственные товарищи, ходить с флагами на митинги на Трафальгар-сквер. Даже Микки Лернер, который, разумеется, был секретарем нашей первичной организации, ставил меня в пример менее активным комсомольцам. Теперь он уже учился в грамматической школе, но сохранил свою прежнюю убежденность и говорил не по годам веско и солидно. Когда он начинал речь, мы все замолкали и превращались в слух. Он был нашим Сталиным — он никогда не ошибался. Его похвалы согревали меня не меньше, чем волнующие улыбки Ханны Фишбейн.

Как-то вечером я вызвался писать на улицах лозунги и, наметав себе ведро белой краски, забрался в какой-то переулок и принялся в одиночестве за дело, все время нервно оглядываясь, как бы меня не застукал патрульный полисмен. Я должен был сделать на кирпичной стене пивного завода надпись: «ФАШИЗМ — НАШ ВРАГ». Я исправно вывел первые два слова, и в это время из-за угла медленно вышла девушка на велосипеде; когда она поровнялась с уличным фонарем, я увидел, что это Ханна. Меня сразу же всего пробрало какое-то сладкое и страшное ощущение.

— Привет! — сказала Ханна, останавливаясь. — Как идет работа?

— Отлично, — ответил я.

— А у тебя хороший почерк, — сказала она и хихикнула.

Краска капала с кисти прямо мне на ботинки, но я не решался даже пошевелиться и отчаянно пытался придумать какое-нибудь шутливое замечание. Ханна бессмысленно вертела рукой педаль велосипеда и тоже ничего не говорила. Наконец, молчание сделалось слишком мучительным.

— Ну, ладно, увидимся на собрании! — сказала Ханна и укатила прочь.

В этот момент я услышал за углом гулкий, тяжелый стук шагов: так обычно шагают полисмены; поэтому я поспешно подхватил свое ведро и обратился в позорное бегство. Я не успел даже закончить лозунг. На кирпичной стене осталась надпись: «ФАШИЗМ — НАШ». И пока я бежал, я думал только о том, как потрясающе выглядит Ханна в обтягивающей красной жакетке и каким, должно быть, идиотом она меня считает: тоже мне, не смог даже как следует поговорить с девушкой.

Несколько дней на душе у меня скребли кошки: дома я молчал, как сыч, на работе у меня все из рук валилось, а по вечерам я бессмысленно кружил по улицам — это приносило мне какое-то мрачное удовлетворение. В воскресенье мы всем семейством поехали на прогулку в Эппингский лес. Стоял ясный, морозный февральский день, ветки блестели инеем, в лесу никого не было, и он выглядел таинственно, как пустой собор. Я ушел от своих и пошел один куда глаза глядят, а потом побежал, чувствуя, как студеный воздух сечет меня по лицу.

— Ура! — закричал я неожиданно. — Ура! Ура!

Затем отбежал еще дальше и, чувствуя себя в безопасном отдалении от людей, выпалил в холодное небо:

— Хан-на! Фиш-бейн! Я! Те-бя! Лю-блю!

Я замолчал, и меня обволокла тишина — еще более зловещая, чем прежде. Я уселся на поваленный ствол, чтобы перевести дыхание, и вдруг случилось нечто невероятное: появилась она.

— Я отстала от своих, — сказала Ханна, смущаясь, и щеки у нее горели, как маков цвет.

Мы двинулись рядом по тропинке, почти не разговаривая. Для меня уже и то было чудом, что смешивались клубы пара, вырывавшиеся из наших ртов. Когда пришлось перелезть через какую-то изгородь, я поддержал Ханну, и она своим не очень-то тяжелым весом оперлась на мое плечо — и застыла в таком положении на несколько секунд дольше, чем было необходимо.

А вечером мы отправились в кино и в затемненном зале осмелели. Мы коснулись друг друга сначала руками, потом коленями, и длинные волосы Ханны обожгли мне щеку. В моем худом мальчишеском теле шевельнулся и взбух росток мужественности, и впервые в своей жизни я запылал в фениксовом пламени.

После этого мы с Ханной стали часто видаться. Она работала продавщицей в бакалейной лавке, и мы встречались два-три раза в неделю — по вечерам, когда лавка закрывалась, и обычно беспечно бродили по улицам, разглядывая освещенные витрины. Сидеть в парке было слишком холодно, а по нашим доходам мы не могли себе позволить два-три раза в неделю ходить в кино. Когда мы уставали слоняться по улицам, мы забирались куда-нибудь в кафе и отчаянно спорили о жизни и о том, какие надежды она нам сулит. Ханна была первым человеком на свете, который не рассмеялся, когда я признался, что хочу стать писателем. Мы обсудили проблемы свободной любви, при этом почти не смущаясь, и оба пришли к выводу, разумеется, чисто теоретическому, что — почему бы и нет? Мы сошлись и в том, что во всем, что касается секса, взрослые — ужасные лицемеры. Ханна рассказала мне, что ее старший

брат в восемнадцать лет женился на нееврейке, а ее отец отказался пойти на свадьбу, несмотря на то, что он был членом коммунистической партии. Ханна собиралась когда-нибудь поехать в Россию и помогать там делать революцию. А мне хотелось сделать революцию здесь, в Англии, чтобы моей матери не приходилось работать до упаду и чтобы у каждой семьи в нашем квартале была своя ванная. Мы с Ханной верили, что после революции жизнь станет необыкновенно-необыкновенно прекрасной, и этого времени стоит дожидаться. Вести все эти беседы было нам обоим так интересно, что мы целыми неделями не ходили на комсомольские собрания.

Как-то вечером, когда я только что вернулся с работы, появился Микки Лернер. Глаза у него были воспаленные, и выглядел он так скверно, что мать всполошилась и заставила его выпить чаю с лимоном. Она стала расспрашивать его о занятиях в школе и о его родных, а я сидел, точно на иголках, так как знал, что Микки пришел увести меня на комсомольское собрание.

Когда мы, наконец, вышли из дому, Микки сказал — недружелюбно и вызывающе:

— Почему ты больше не ходишь на собрания?

— У меня была сверхурочная работа. — соврал я, не зная, куда глаза девать.

Микки отвернулся и стал глядеть в сторону, и на лице у него было холодное, решительное выражение, такое же, как когда его секли в школе.

— Ханна Фишбейн тоже не ходит на собрания — с тех самых пор, как вы с ней гуляли по Эппингскому лесу. Она, небось, тоже работает сверхурочно.

Я не ответил. В том возрасте меня очень легко было заставить чувствовать себя виноватым — так же легко, как вызвать у меня слезы. А насчет Ханны я и без того чувствовал себя особенно виноватым — из-за того, как я о ней иногда думал, когда мне по ночам не спалось.

— Если ты хочешь быть аполитичным, твое дело,

— продолжал Микки жалобным голосом. — Но из-за тебя наша первичная организация теряет одного из лучших товарищей. Я на днях случайно видел, как вы с ней целовались.

— И вовсе мы не целовались! — воскликнул я возмущенно. — У нас с ней платонические отношения.

— Вы чмокались, как оголтелые! — возразил Микки. — Это было отвратительно. И не я один это видел.

Чем больше я утверждал, что отношения у нас с Ханной чисто платонические, тем яростнее Микки обвинял меня в том, что я совсем уж стал сексуальным маньяком, и я мало что мог сказать ему в ответ, потому что я и вправду почти все время думал о сексе, и меня самого очень тревожило, не становлюсь ли я и в самом деле таким, каким меня считает Микки, то есть сексуальным маньяком.

— Ты что, влюблен в Ханну Фишбейн? — спросил Микки требовательным тоном.

Я ответил, что она мне нравится, и когда Микки на меня нажал, добавил, что она мне очень нравится, и в конце концов признался, что она мне нравится больше, чем какая-либо другая девушка.

Микки взглянул на меня с грозным презрением.

— Неужели ты не понимаешь, что любовь — это всего лишь биологическая необходимость? Каждый люмпен-пролетарий ходит и пускает слюни про любовь! А мы-то считали тебя классово-сознательным товарищем!

Я возразил, что я и есть классово-сознательный товарищ.

— Да ты даже не знаешь, что это такое, — скривился Микки. — Ни один классово-сознательный товарищ не станет отрывать комсомолку от общественной работы, чтобы она проводила время только с ним одним. Так может поступать только буржуазный оппортунист. В конце концов ты знаешь, что сказал об этом сам Ленин? Он сказал, что секс — это совсем не то, что стакан воды.

Микки ссутулил плечи и поплелся прочь, оставив меня в полном смятении.

Когда после этого я встретился с Ханной, она была очень неразговорчива и глядела на меня как-то странно. Мне стало ясно, что Микки Лернер с ней тоже провел политбеседу, и я испугался, не сказал ли он и ей, что я сексуальный маньяк. На Ханне была короткая юбка и красный шерстяной джемпер, перехваченный в талии пояском. Всю дорогу, пока мы шли по Уайтчепел-род, она молчала; потом мы зашли в молочный бар на Олдгейте. Там мы взгромоздились рядом друг с другом на высокие табуреты за стойкой, и я изо всех сил старался не глядеть на ее ноги, которые изрядно приоткрылись, потому что Ханна все время то скрещивала их, то снова вытягивала.

— Пятнадцать лет тебе уже исполнилось? — неожиданно спросила Ханна.

— Да, — ответил я, — уже исполнилось, но многие принимают меня за семнадцатилетнего, потому что, говорят, я выгляжу старше своих лет.

На самом деле это было не совсем так: пятнадцать мне должно было исполниться через полтора месяца.

— А мне в июне будет шестнадцать, — объявила Ханна, постаравшись, чтобы эта фраза прозвучала как можно обиднее.

Я закурил сигарету и изысканным жестом выбросил спичку, как это делал Джордж Рафт в фильме «Маленький Цезарь».

— Некоторые, которым уже шестнадцать, умом еще и до тринадцати не доросли, — заметил я холодно.

Ханна улыбнулась так, что все, кому было не лень взглянуть, могли увидеть ее чудесные зубы, и очень ясно, отчетливо, отчеканивая слова, спросила:

— А ты не слишком рано начал курить? Смотри, от этого ты можешь перестать расти.

Я не снизошел до ответа.

— Тебе что, жарко? — сказала Ханна. — У тебя все лицо красное.

Я уже собрался было скорчить презрительную гримасу и гордо удалиться, но тут Ханна потерлась коленом о мою ногу.

— Глупыш! — улыбнулась она. — Я же шучу.

По тротуарам Олдгейта беспорядочно двигались толпы гуляющих; потоки людей шумно вываливались из баров. Ханна сжала меня пальцами за локоть и потащила в какой-то переулок. Там она прижалась ко мне плечом и обвила меня рукой — и сердце у меня стало бешено колотиться о ребра. Невдалеке кто-то играл на губной гармошке, издавая то хриплые, то нежные звуки. Мы с Ханной медленно двинулись по тротуару и остановились у ворот какой-то фабрики.

Тихим, призывным голосом Ханна спросила:

— Ты веришь в платоническую любовь между парнем и девушкой? То есть я имею в виду, как коммунист и член комсомола?

До того я был уверен: ей хочется, чтобы я ее поцеловал. Мне казалось, что все признаки говорят об этом. Но ее вопрос о платонической любви привел меня в замешательство. Мне стало уже далеко не так ясно, чего она на самом деле хочет. Когда тебя переполняют чувства, трудно отвечать на чисто теоретический, интеллектуальный вопрос.

— Ханна, я тебя не понимаю.

— Ты веришь в платоническую любовь? — повторила она, словно обращаясь к недоумку.

Я выпростал руку.

— Гм... это гипотетический вопрос.

— Да или нет? — настаивала Ханна.

Я мучительно вспоминал: говорил Ленин что-нибудь о платонической любви или нет? Микки Лернер — он-то собаку съел в диалектике — наверняка знал точно. Наконец я сдался.

— Я... наверно, верю.

— Ну, так когда ты станешь старше, ты переста-

нешь в это верить, — холодно сказала Ханна и пошла прочь.

На следующее свидание Ханна не явилась, поэтому я провел вечер, играя в китайский бильярд. Два дня спустя я зашел в бакалейную лавку, где она работала, и купил пончик. Ханна притворилась, что занята и не замечает меня. Потом я несколько раз приходил к ее дому и кружил у подъезда, ожидая, что она выйдет, но когда она и вправду выходила, я прятался и ждал, когда она уйдет. Дело в том, что как раз в это время меня уволили с работы, и у меня было пропасть свободного времени. Я целыми днями сидел в публичной библиотеке и читал детективные романы, а по ночам грезил о девочках — не только о Ханне, и грезы эти вскоре сделались такими буйными, что мне самому стало страшно.

После того, как таким образом прошло недели две, мне почему-то неудержимо захотелось снова пойти на комсомольское собрание и услышать чьи-то человеческие голоса, помимо голосов своих домашних. Дрожа, как лист, я буквально заставил себя войти внутрь. Микки Лернер встретил меня отнюдь не дружески. Первое, что он сделал, — это спросил, могу ли я уплатить свою задолженность по членским взносам, и я вынужден был выложить свой последний шестипенсовик. Ханна Фишбейн бросила на меня отчужденный взгляд, словно нас с ней разделяла река шириной с добрую милю, и принялась оживленно беседовать с группой ребят. Микки бросился через всю комнату к ним и включился в разговор, отпустив какое-то шутливое замечание, которое было встречено взрывом хохота. Слепому было ясно, что смеются они надо мной. И тут я впервые заметил, что нос у Ханны великоват для девушки.

Началось собрание. Микки поднялся на трибуну, и председатель собрания официально представил его всем присутствующим. Разумеется, все здесь отлично знали, кто такой Микки, но он сам всегда на-

стаивал на том, что все должно делаться, как положено.

— Товарищи! — начал он.

Микки был очень хорошим оратором, и обычно я соглашался со всем, что он говорил. Но в тот вечер мне стало ясно, что он всего-навсего краснобай, и больше ничего. Каждый раз, как он отпускал какую-нибудь шуточку, он взглядывал на Ханну, и она все смеялась и смеялась, как будто он был великий комик.

Когда Микки кончил свою речь и началась дискуссия, все, как обычно, стали соглашаться друг с другом — и особенно с Микки, хотя в то же время пытались делать вид, будто между ними есть какие-то малосущественные разногласия.

— Товарищ! — сказал вдруг Микки, взглянув на меня. — По вашему лицу я вижу, что вас что-то тревожит.

И ведь вот беда: не успел я подняться на ноги, как все, что я хотел сказать, тут же испарилось у меня из головы. Да, именно так, меня кое-что тревожило. Но объяснить, в чем дело, я не мог даже самому себе. Все-таки я попытался что-то сказать. Иногда людям хочется одиночества, а иногда людям не хочется одиночества. Мысль эта была довольно туманной, и мне было трудно объяснить ее, не заикаясь. Я взглянул на Ханну, но она смотрела прямо перед собой. Я не мог думать ни о чем другом и резко сел на место.

Микки мрачно кивнул.

— Конечно, — сказал он. — при капитализме людей всегда что-нибудь тревожит. Так вот, товарищ, если вы захотите обсудить с нами что-нибудь, что вас тревожит в личной жизни, мы всегда будем рады вас выслушать. Но если бы вы рассмотрели этот вопрос с диалектических позиций, вы бы поняли, что коммунизм избавляет человека от всех тревог.

Когда Микки стоял на трибуне, он вовсе не казался ни щуплым, ни низкорослым. И для его возраста у него был на удивление богатый словарь.

— Если коммунизм избавляет человека от всех

тревог, — вызываяще крикнул я с места, — объясни, как он может избавить тебя от мозоли на ноге?

Почти все рассмеялись, но Микки даже не улыбнулся, он только дернул головой, как будто у него был слишком тугой воротничок.

— Хорошо, товарищ, — ответил он холодным, суровым голосом, — я объясню вам линию партии. Почему человек натирает себе мозоли? Потому что он носит дешевые ботинки, продукт массового производства. Ни один капиталист не натирает себе мозолей. Потому что капиталист может себе позволить покупать дорогую обувь, изготовленную на заказ. Но при коммунизме каждый рабочий, которому нужны ботинки на заказ, получит их бесплатно от государства, и тогда мозоли канут в прошлое.

Это был, конечно, блестящий ответ: я чувствовал себя раздавленным и уничтоженным.

Вскоре меня исключили из комсомола — как мне объяснили, за то, что я троцкист. Решение о моем исключении было принято единогласно, и Ханна голосовала вместе со всеми. Я не очень-то понимал, что такое троцкизм, но кто-то мне сказал, что в России людей за это расстреливают.

## 10. Вид с седьмого этажа

В то лето, когда мне исполнилось шестнадцать лет, на улицах не щебетали воробьи, никогда не сияло солнце, и отдаленный смех казался мне насмешкой над моим отчаянием. Весь день напролет я вдыхал в себя мелкие волосинки от шкур мертвых лисиц, скунсов и кроликов в кишевшей крысами мастерской меховщика Дорфмана, и мне казалось, что теперь я буду заниматься этим до тех пор, пока легкие у меня не будут доверху наполнены меховым пухом, как хорошо набитая подушка. А по ночам я спал среди обломков крушения; Бог развеял мои мечты, как нетерпеливый школьный учитель.

Кроме меня, весь штат Дорфмана состоял из его домашних. У миссис Дорфман, работавшей на швейной машине, были большие, мускулистые, мозолистые руки, и она каждый день брилась — эту напасть она никак не могла скрыть, несмотря на то, что густо пудрила себе челюсти. Кроме того, в мастерской работала аппретурщицей Люба, племянница Дорфманов, девушка, воспитанная в старомодных правилах. Ее иссиня-черные волосы, перехваченные ленточкой, были подвязаны вокруг ушей, и ее большие, пышные груди напоминали пару голубей в гнезде. Люба углубленно работала и, когда наши взгляды сталкивались, краснела. В этой мастерской я был ее пленник; и, обрабатывая расстеленные на скамье серебристые шкуры, я думал о ней — думал жарко, сам себя стыдясь. Поэтому, хотя платили мне так, что и смех и грех, а работа была тяжелая, я считал, что это плата за похоть, и не бунтовал.

— Ты что, или тебе ничего больше не хочется добиться в жизни? — спросила меня как-то мать жалобным голосом.

Стоя у плиты, она одной рукой наливала половником мне суп в тарелку, а в другой руке, согнутой в локте, держала очередного младенца. На ней бесформенно висел чересчур просторный мужской лжемпер, но, тем не менее, уже можно было заметить, что живот у нее снова вырос. Нас было у нее уже десять — самая большая семья во всем доме, но ничто не помогало: ни произносимые зловещим шепотом советы доброхотов-соседей, ни тюбики и шприцы, хранившиеся под бельем на дне комода, ни, разумеется, толстая Йетта, которая каким-то образом освобождала от проклятья плодовитости всех других женщин, а мою мать оставляла с ее бременем, изможденную болью и усталостью.

— Мэнни, — сказала мать, — я с *тобой* говорю!

Руки у меня пахли трупами пушных животных, и от этого никакого спасу не было.

— Оставь меня в покое! — закричал я. — Ничего мне не хочется добиваться в жизни!

— Бобеле, съешь капельку супу, это тебе полезно, — замурлыкала мать, насильно всовывая ложку в ротик малышки Фрэнки. — Эй, Джекки, а ну, перестань баловаться со швейной машиной! Где Дэви? Где Соня? Эй, кто-нибудь там, закройте дверь, тут ужасный сквозняк!

Она охотно забрала бы нас всех назад к себе в чрево, если бы жилищный инспектор Господа Бога разрешил там такую перенаселенность.

У моего отчима Солли был замечательный дар: он умел совершенно отрешаться от того, что происходило вокруг. Он помешивал себе свою вермишель и читал «Свободомыслящего», и на лице у него была написана искренняя заинтересованность человека со взглядами. Один за другим появлялись мои братья, чтобы поссориться друг с другом, на скорую руку перекусить и, не наевшись вдоволь, исчезнуть. Нашего голода никакая пища утолить не могла.

— Бог сделал мир за шесть дней, — хихикнув, сказал Солли. — А кто сделал Бога?

— Ты бы лучше подумал о том, где взять деньги, чтобы купить ботинки для *киндер*. — мрачно ответила мать. Затем она повернулась ко мне. — Может быть, ты бы мог пойти в вечернюю школу и научиться там стенографии и машинписи?

— Ты все равно что по-китайски с ним говоришь! — отозвался Солли. — Да не трать ты даром слов! Ты же видишь, у парня нет никакого честолюбия!

У меня в ушах раздавался грохот, словно там били там-тамы. Тираны задрожали бы, если бы знали мою мощь. Я буду взрывать банки и делать революцию, я буду творить чудеса, я сделаю так, что Ротшильд будет казаться нищим. Мое имя люди будут повторять и через тысячу лет. Я был бомбой замедленного действия — бомбой, которая ждет своей минуты, чтобы взорваться и разнести весь мир...

— Я пойду в армию, — сказал я, задыхаясь. — Поеду в Австралию. Или, может, займусь вольной борьбой и стану чемпионом.

— Это ты-то, с твоими-то мускулами? — прыснул Солли. — Не смеши меня!

Он рассмеялся. Я выплеснул свой суп в раковину. Солли отложил в сторону «Свободомыслящего» и выгнал меня из квартиры. В ту ночь я так и не пришел домой ночевать. Сперва, пока не стемнело, я прятался в тени подъезда какой-то фабрики. А потом побрел к Вестминстерскому мосту и с высоты моста плюнул в величественную Темзу.

Как следует все обдумав, я попросил Дорфмана о прибавке.

— Да ты с ума спятил! — возмущенно воскликнул Дорфман. — У меня же ты тут имеешь будущее, золотое будущее! И ты хочешь пустить это псу под хвост? В самом начале, как ты начинаешь делать бизнес!

Изо рта у него пахло селедкой и турецкими сигаретами, и поэтому я отвернулся от него, но он принял это за непочтительность.

— Имей хоть немного уважения к старшим! — закричал он.

В этот момент появилась Люба, неся грудку мехов; она прошла мимо, задев меня плечом, и решимость моя ослабела.

— Мне хочется чего-то добиться в жизни! — сказал я упрямо.

Дорфман пошел посоветоваться с миссис Дорфман. Она повернула свое бородатое лицо и кинула на меня злобный взгляд, а потом стала что-то доказывать своему мужу, яростно размахивая руками в воздухе, так что он весь аж съежился. В конце концов Дорфман энергично кивнул и вернулся ко мне.

— Просто так, за ничего мы деньги не платим, — заявил он, передернув плечами, и рот у него скривился, словно он сжевал лимон без сахара. — Еще месяц ты будешь хорошо работать, тогда-таки, может быть, да.

Жена Дорфмана сурово кивнула из другого конца комнаты. После этого весь день она пыталась поймать меня на том, что я халтурю.

— Макс! Этот мальчишка, погляди на него, он же о чем-то мечтает, а не работает! Дай ему что-нибудь делать! — закричала она, слезая со своего высокого табурета за швейной машиной, и, грузно ступая жирными ногами, отправилась в уборную.

Дорфман ушел, чтобы за стаканом чая обсудить какие-то свои дела с торговцем шкурами. Мы с Любой остались одни. Стало так тихо, что было слышно, как скребет игла о металлический наперсток.

— Что ты делаешь по выходным? — спросил я, заикаясь.

— По субботам, — прошептала она, не поднимая головы, — мы вместе с тетей ходим в синагогу.

Ее курчавые черные волосы оттеняли изгиб нежной шеи, и меня мучили ее узкие, сонные русские глаза. Я хотел сказать что-нибудь чудесное, незабываемое — или что-нибудь такое едкое, жестокое и красноречивое, чтобы мои слова остались у нее на всю жизнь свежей раной.

Но вместо этого я сказал:

— А по субботам твоя тетя тоже бреется?

И в ужасе посмотрел на нее. Она удивленно вскинула на меня глаза.

— Религия ведь это запрещает, не так ли? — громко крикнул я, и как раз в этот момент в комнату вошла миссис Дорфман.

— Что тут происходит? — спросила она резко, но я в это время был уже на полпути к двери.

На этой улице было полно меховых мастерских. В окне соседнего здания, у меховщика Блюма, висело объявление: «Требуется закройщики, гвоздильщики, швейники». Мистер Блюм был маленький, юркий человечек, говоривший, как пулемет строчит.

— Дорфман тебе сколько платил? — спросил он.

— Тридцать шиллингов. И он обещал мне будущее.

Мистер Блюм хихикнул.

— Обещал тебе будущее? Этот *шмок*? Да он уже в следующем сезоне будет банкротом. Что ж, ты можешь сделать сам себе *мицву*. Тут у нас научные методы: электрические машины, охлаждение, ну и все такое прочее. Я поставлю тебя на сдельную работу. Будешь сам себе голова. Сможешь приносить домой по три фунта в неделю.

Разумеется, я сразу же согласился. В сердце у меня болело, словно у меня из груди вырезали кусок живого мяса, и я хотел бы, чтобы мне уже было восемнадцать лет и чтобы была война. В то время у меня было смутное предчувствие, что я никогда, никогда не стану самим собой, если моя жизнь в какой-то момент не пойдет прахом, чтобы потом я мог начать все сначала и жить по-новому.

Однако вскоре после того, как я стал работать в мастерской Блюма, это ощущение притупилось. У Блюма все работники были на сдельщине, и им жалко было рабочего времени на то, чтобы судачить, сплетничать или рассказывать анекдоты. Машины визжали, как металлические кошки, на скамьях закройщиков стремительно вырастали груды шкур, за-

кройщики проворно растягивали, измеряли и кромсали шкуры своими быстрыми ножами. Я заколачивал гвозди до пузырей на пальцах, потая от жара больших коксовых печей. В обеденный перерыв я поднимался на плоскую крышу шестиэтажного дома, в котором находилась мастерская, съедал там свои сэндвичи, блаженно растягивался на солнце и тупо смотрел, как вокруг дымовые трубы выбрасывали в лондонский воздух густые клубы дыма, отравлявшие воздух. Теперь я мог ходить в кино столько, сколько мне хотелось. В те годы в моде была Мэй Уэст, и, мастурбуя по ночам, я безнадежно мечтал о любви, которая была бы одновременно и святой и плотской. А дома все постоянно ссорились. По полу ползали младенцы, они цеплялись за материнскую юбку и мешали ей крутить швейную машину. Отчим приходил с работы, часок спал, а потом расфранчивался и уходил на собачьи бега. Неожиданно налетали ураганы ярости, захлестывая всех нас. Квартира наполнялась криками и угрозами; летали тарелки, хлопали двери, визг и шум приводил в ужас соседей. Но это были всего лишь внутренние кровоизлияния, и повторялись они слишком часто, чтобы восприниматься как нечто более серьезное, чем обыкновенная семейная рутина.

Нет, мистер Блюм ошибся. Я не сделал себе никакой *мицвы*. На что мне были все эти деньги, которые я начал зарабатывать? Я купил себе кое-какие новые вещицы: японский портсигар, гоночное седло для велосипеда, несколько стальных эспандеров для физических упражнений, карманный нож с шестью лезвиями. В день, когда мне исполнилось шестнадцать лет, я, позвякивая в кармане монетами, отправился вместе с длинноносым Изи Бирнбаумом на танцы в Хокстон: мы надеялись подклеить там парочку девушек постарше нас, которые были бы достаточно опытными, чтобы иметь с нами не только дружеские отношения. Само собой, из этого ничего не вышло, и мы закончили вечер в каком-то баре, где пили горькое пиво и притворялись, что нам наплевать.

Куда чаще я слонялся вокруг Спиталфилдского рынка, где у Дорфманов жила Люба, и пожирал глазами крошечные окна их квартиры, надеясь увидеть хоть ее тень на занавеске. Время тянулось убийственно медленно. Люди выглядывали из окон на улицу или бесцельно передвигались в убогих, переполненных мебелью комнатах, открывая и закрывая рот, словно им не хватало воздуха. Иногда я видел — или мне казалось, что я видел, — как мужчина и женщина свивались в порыве похоти, а однажды из дома вынесли на носилках человека с перерезанным горлом. Главное развлечение начиналось после закрытия баров — особенно в субботние вечера, когда, оставив свои вест-эндские арены, сюда толпами устремлялись профессиональные атлеты, уличные циркачи и прочие развлекатели, привлеченные щедростью пьяных кокни.

Единственно, где я не ожидал увидеть Любу, — так это на крыше в обеденный перерыв: но именно там я ее и увидел. Было так жарко, что впору клопу испечься, и на крышах собралось столько людей, словно вот-вот должна была появиться процессия лондонского лорд-мэра. Рабочие нежились на солнце, сняв пиджаки и расстегнув рубашки, они играли в карты или подманивали голубей, обсыпав себе плечи хлебными крошками. В доме напротив в какой-то витрине сгрудилась кучка людей, они пронзительно насвистывали. Я поднял глаза — и вдруг увидел Любу: она сидела на крыше дорфмановского дома, всего в нескольких футах от меня. Мы поглядели друг на друга, а потом быстро отвели глаза.

Подул горячий ветер и понес над крышами газетный лист, который заметался между тумбами, как безумная птица. Люба повернула свою нежную шейку и внимательно следила, как газету унесло ветром вдаль, по направлению к Собору Святого Павла, а я тем временем следил за Любой. Мы оба засмеялись. Кто-то из рабочих стал над ней грубо подтрунивать. Она покраснела и укрылась за дымо-

вой трубой. Ухватившись за этот предлог, дающий возможность совершить рыцарский поступок, я перелез через железные перила, со страхом взглянул вниз, в бездну глубиной в шестьдесят футов, и прыгнул на соседнюю крышу. В группе рабочих раздались крики иронического восхищения.

— Надеюсь, тебя не увидит дядя, — холодно сказала Люба. — Он думает, что ты коммунист.

В те дни еще встречались люди, которые верили, что большевики пожирают детей, а девушки в Советском Союзе принадлежат всем и каждому, как средства производства. Но я к тому времени уже был исключен из комсомола за троцкистские взгляды, что бы это ни означало (я так и не узнал, что именно). Родные моей матери умерли от голода на Украине, и когда я упомянул об этом в разговоре с Микки Лернером, идеологическим лидером бетнал-гринской коммунистической ячейки, он сурово ответил мне, что нельзя сделать яичницу, не разбив яиц. Я был против того, чтобы делать яичницу из живых людей, и поэтому я перестал быть коммунистом, а остался только революционером.

Когда я все это объяснил Любе, у нее задрожали губы, и она вздохнула с той глубокой еврейской грустью, которую у нас так легко пробудить, стоит лишь упомянуть о каком-то большом несчастье. Это нас сблизило. Теперь, по праву этого сближения, ее сияющие черные глаза и пышные, мягкие груди немного принадлежали и мне.

— Когда я тебя впервые увидела, я подумала, что ты идеалист, — сказала Люба.

Солнце заблестало и озарило весь мир, от Лондона до Китая.

На другой день Люба во время перерыва снова поднялась на крышу, и на следующий день после этого — тоже. Раз за разом это вошло у нас в обычай. Как только она появлялась, я перелезал через перила, мы садились рядом и делились друг с другом сэндвичами. Поразительно, как быстро мы сдружились и стали накоротке.

Однажды Люба неожиданно спросила:

— Ты веришь в Бога?

— В Бога?

Я рассмеялся — не потому, что ее вопрос меня рассмешил, а потому, что мы были с ней вместе, вдвоем, вдали от всех.

— Не смейся, — сурово сказала Люба.

Подумав, я сказал, что допускаю существование Бога, ибо сомнение толкуется в пользу обвиняемого.

— Тогда как же ты можешь верить в революцию?

— спросила Люба.

— Бог верит в революцию, — сказал я.

Люба рассказала мне, что родилась она в России, в городе Подольске, и ее привезли в Англию, когда умерла ее мать. Ей хотелось стать певицей — и она напевала на идиш песни, которые помнила с детства, напевала тоненьким, сладким голоском, дрожащим от робости. Когда я отпустил какую-то шутку о Дорфманах, Люба смутилась, потому что, как она сказала, Дорфманы были хорошие люди и она их любила. Мне не следовало насмехаться над ее тетушкой за то, что она бреется. В девушках мисс Дорфман была очень красива, но когда ей было пятнадцать, ее обесчестил погромщик. После этого у нее не только стали расти волосы там, где не нужно, но она не смогла иметь детей и потому всю жизнь была несчастна.

Потом мы заговорили о ком-то другом — с грустным сочувствием, которое проявляют люди, считающие, что уж они-то от всех невзгод застрахованы. Только вот беда: Люба не могла встречаться со мной после работы, потому что дядюшка у нее был больно уж строгий. Я хотел видеть ее чаще. Мне было мало коротких свиданий в обеденные перерывы, когда всего на один какой-нибудь час замолкали машины и мы с Любой садились рядом друг с другом под взором открытого неба.

Мне не хватало времени, чтобы рассказать ей даже о сотой доле своих надежд и стремлений, и, по моему, с Любой было то же самое. Губы у нее были

полные и влажные, и в ее глубоких, темных глазах вспыхивала чувственность, когда мы с ней говорили о том, как хорошо было бы уехать на целый день за город, или походить по кино, или покататься на гребной лодке, или проехаться по Темзе на пароходке, который по ночам проплывал мимо сверкающего огнями города. Но Люба ни о чем таком и слушать не хотела — и все из-за этого проклятого Дорфмана, будь он неладен!

Я смотрел, как птицы слетают с крыши на улицу и вспархивают обратно, и вдруг мне в голову пришла шальная мысль. Обмирая от собственной отваги, я спросил:

— А может быть, мы могли бы встретиться здесь после работы?

— Как? Здесь, на крыше?

— Ну да. Тогда мы будем одни.

Мое предложение позабавило Любу и смутило.

— Сюда пошлют пожарников, чтобы прогнать нас с крыши.

— Давай попробуем — и посмотрим, что будет.

Люба колебалась, не зная, соглашаться или нет. А вдруг ее увидит тетушка? Наконец, она приняла рискованное решение. Когда Дорфманы будут уходить из мастерской, она придумает какой-нибудь предлог, чтобы пойти домой одной, а сама прокрадется наверх. Но только на несколько минут. Ладно, несколько минут можно продлить до часа, а то и больше. Опустевшие фабрики потонут в тишине и мраке, над нами будут искриться гроздь звезд, и наши бледные лица сблизятся, и губы наши сольются в поцелуе.

После этого всю вторую половину дня я работал, как одержимый, чтобы время текло скорее: я вбивал гвозди в меха с такой яростью, словно каждая минута была сделана из металла. Стрелка стенных часов, висевших в мастерской, казалось, примерзла к циферблату. А затем машины остановились, скамьи освободились от шкур, и все заторопились к выходу.

Было шесть часов. Я выбрался из своей катакомбы. С высоты седьмого этажа Лондон в это время казался городом-призраком. Я стоял один среди застывших труб, смотрел на золотой медальон солнца и ждал Любу.

По железным ступенькам небесного света застучали шаги. Я радостно повернулся к лестнице. Оттуда поднялась взъерошенная шевелюра Дорфмана, и я встретился взглядом с его усталыми глазами, вокруг которых были красные круги.

— Ну, шаромыжник, ты не ждал, что это буду я? — спросил Дорфман. — Тварь ты этакая! Коммунист! Невинную девочку хотел затащить одну на крышу! — Он завизжал. — Эй, это опасно! Хочешь сломать себе шею? Пожалуйста! Тут свободная страна...

Когда я вернулся домой, я застал братца Эйби в совершенной ярости.

— Где моя рубашка? — спросил он. — Это ты взял мою рубашку?

В то утро, когда я одевался, я хотел выглядеть поприличнее, а в комодке была всего одна чистая рубашка моего размера. Мы с Эйби сцепились, отчим кинулся нас разнимать, а мать начала орать на всех нас. Малолетки стали канючить, что в таком бедламе они не могут готовить уроки. То есть начался абсолютно нормальный вечер. После ужина я ушел из дому. В пустом небе плыла луна. Она глядела вниз на улицу, как будто улица была тут чужой.

## 11. Благотворительные ботинки

Уайтчепел, Мидлсекс-стрит. Изнурительный июльский зной. Голодные голуби роются в расплюсненном лошадином помете, и по всему городу бесцельно слоняются под полуденным солнцем оптимисты, не унывая поднимая крышки мусорных баков...

Я дремал на тротуаре перед помещением Армии спасения, сидя на газетном заголовке, который сообщал, что в Англии насчитывается три миллиона безработных. Тревор, черноволосый парень из Ронды, уныло читал на другой странице объявления под рубрикой «Требуется».

— Чего я хотел бы найти, так это хорошее место, чтобы выдвинуться, вот, — сказал Тревор. — Приличное, солидное место, а не какую-нибудь шарашкину контору, где сегодня тебя возьмут, а завтра турнут: «шиллинг в день, и будь рад, и целуй меня в зад».

Я прислонился к кирпичной стене, закрыл глаза и подставил лицо солнцу. Что-то укусило меня под левым локтем и прервало мои окрашенные в оранжевый цвет размышления: меня уже шесть недель как выставили из дому, и с тех пор я ни разу не принял горячую ванну. Если бы моя мать могла теперь на меня поглядеть! Она бы, небось, меня убила, а может быть, и простила бы. «Ой, ты, мамочка родная, спаси меня, я погибаю!»

— Если где-то кто-то и требуется, так разве что какие-то дурацкие клерки! — с отвращением продолжал Тревор: он сложил газету и тщательно спрятал ее в карман. — Ты уже ел?

Я потер свою зудящую спину о стену, заелозил вверх, вниз, вправо, влево. Что за вопрос! В последний раз я съел что-то существенное тогда, когда Пинни тайком вынес мне сэндвич с сыром, пока я прятался во дворе. Давно ли это было? Позавчера, что ли?

— Тревор! — сказал я слабым голосом. — Сколько нужно времени, чтобы человек умер от голода?

— Я знаю средство, чтобы не умереть от голода, — ответил он. — Вообрази себе... — Тревор проглотил слюну и уставился вверх, и на лице у него появилось болезненно-нежное выражение. — Сочный ростбиф, поджаристый, только из духовки, с гарниром из подрумяненной жареной картошки и брюссельской капусты, а наверху добрый кус масла, и он тает, тает, тает, а к этому еще два хрустящих ломтя хлеба, и на десерт кружка дымящегося чая. Ну, как? Неплохо бы так подкрепиться, парень, а?

Мы встали и пристроились в очередь у столовки Армии спасения.

— Чего толкаешься? — буркнул какой-то старик, взглянув на нас водянистыми глазами.

Из нагрудного кармана старика торчала губная гармошка, выдававшая его профессию. Кроме него, в очереди стояло несколько замызганных нищих со свистульками, гармониками и другими музыкальными инструментами. Некоторые были на костылях и выставляли напоказ военные медали. Весь их вид говорил о горькой нищете, и свои трехпенсовые суповые миски они держали с таким видом, словно каждую каплю супа они оплатили своей кровью.

Девушка в форме разлила чай и раздала хлеб; собирая наши кружки, она доброжелательно улыбалась. Неотесанный, как истый валлиец, Тревор, глядя на нее, пролил добрую половину своего чая.

— Эта, небось, не из таких, что слабы на передок, — объяснил он. — Вот такие-то бабы, которые все аж розовеют от благочестия, — они-то и наводят меня на грязные мысли.

Но я его не слушал; я засмотрелся на только что появившегося парня в широкополой черной шляпе и длинном потертом лапсердаке, какие носят польские хасиды. На щеках у него завивались белокурые пейсы, и над верхней губой был мелко разбросан золо-

тистый пушок. Парень в лапсердаке двигался, точно во сне, мелкими девчоночьими шажками, словно хотел спрятаться в свою синагогальную медитацию от прокисшей христианской благотворительности. Ягненок среди гоев — от его появления у меня захолонуло в сердце, точно тайное дыхание предков коснулось меня.

— Религиозные бабы ужасно страстные, — продолжал объяснять Тревор. — Они вправду ужасно распутные. То есть они для того и ходят в церковь, чтобы молитвой отгонять похотливые мысли, так ведь?

Парень в лапсердаке вымыл руки в пожарном ведре и вскрыл банку сардин, не переставая бормотать благословения на иврите. Он угрюмо взглянул мне в глаза, и между нами пробежала искра узнавания. Девушка из Армии спасения подошла к нему и положила около него на стол какую-то религиозную брошюру.

— Добро пожаловать, присоединитесь к нам в наших молитвах, — сказала она уважительно.

Хасид даже головы не повернул, лишь чуть-чуть отодвинул свою банку сардин, но совершенно ясно дал понять, что он отвергает брошюрку. Искра зажгла слабый огонек. Я погасил его холодным, не терпящим возражений взглядом. Нам с ним было не по пути.

Хасид затаился где-то в темном гетто моего мозга. Снаружи, на улице, было еще жарче, чем прежде. Вокруг моих давно не мытых волос закружились огромные мухи, и я был сам себе противен — противен тем, что я грязный, что я неудачник, что, к моему собственному ужасу, меня засасывает какое-то бессмысленное, но предопределенное мученичество. Жизнь медлила — и в то же время быстро уносилась куда-то прочь. И хотя мне некуда было идти, меня грызло нетерпение, которое заставляло меня бороться.

Я снял ботинки и стал закладывать в них дыры

свежей газетой. Это были хорошие ботинки из бычьей кожи, я взял их у отчима перед тем, как уйти из дому. Его лучшие ботинки — он, небось, пришел в ярость, когда обнаружил, что они пропали: но теперь они ему уже негодились бы.

— Куда это ты собираешься? — удивленно спросил Тревор.

— В Брайтон, — ответил я; это было первое название, которое пришло мне в голову. — Говорят, там можно устроиться продавать мороженое.

— Слушай, парень, а ты случаем не еврей? — спросил Тревор и ткнул пальцем через улицу. — Ежели так, так ты можешь пойти и попросить у них пару ботинок. Без ботинок ты ни до какого Брайтона не дойдешь.

На медной планке, прикрепленной к дверям, было написано: «Попечительский совет помощи еврейским беднякам. Пасхальная маца, бесплатная кошерная пища, бесплатные похороны».

— Не нужно мне их чертовой благотворительности, — буркнул я.

Трево́ра такая бестолковость разозлила.

— Ботинки — это никакая не благотворительность, — объяснил он. — Пара ботинок тебе положена.

Он дружески пнул меня в плечо и подмигнул.

— А может быть, у них еще найдется и пара носков для одного бедного валлийского го́я. Ну, иди! Я буду ждать.

Я перешел улицу. С тех пор я больше никогда не видел Трево́ра.

Как только я переступил порог кабинета инспектора по оказанию благотворительной помощи, мы с ним сразу же друг друга узнали. За шесть лет капитан совершенно не изменился. Он до сих пор сохранил военную выправку и выглядел, как человек, которому пристало сидеть верхом на лошади. Красивый, живой, энергичный, с пронизательным взглядом, привычным всматриваться в далекий горизонт.

Разумеется, я сейчас был старше, выше ростом и, само собой, куда грязнее, чем шесть лет назад, но изменился я все-таки, наверно, гораздо меньше, чем мне казалось. Капитан быстро оглядел меня с ног до головы, затем удовлетворенно улыбнулся. Он сразу же признал, кто перед ним стоит.

— Ты Литвинов, — сказал он. — Я никогда никого не забываю. Авраам, да?

— Нет, сэр, — ответил я и сам не узнал собственного голоса. — Эмманюэл, сэр.

Когда мне было десять лет, я вступил в Еврейскую молодежную бригаду, и капитан Дайэмонд пытался обучить меня воинскому искусству. Все, что я делал, не лезло ни в какие ворота: я не умел соблюдать субординацию, я переминался с ноги на ногу вместо того, чтобы стоять по стойке смирно, в строю я не попадал в ногу, а во время летних сборов меня чуть не вышибли из бригады за кражу капитанского шоколада — хотя я взял только одну или две плитки. В наказание я до самого возвращения в Лондон был вынужден каждый день чистить капитанские сапоги.

Когда я увидел капитана, меня охватила паника, и желудок мой судорожно сжался. Конечно, капитан сейчас же арестует меня и под конвоем отправит домой. Моя мать перечислит все мои грехи. Парень слоняется без работы, не приносит в дом ни пенса. А свой костюм за пятьдесят шиллингов он заложил в ломбарде! И для чего? Чтобы заплатить за квартиру? Чтобы купить голодным детям поесть? (Горький смешок). Как бы не так! Для того, чтобы взять напрокат палатку и поехать к морю вместе с другими такими же лоботрясами — мальчишками, девчонками, коммунистами, я знаю? Людям есть нечего, а ему хоть кол на голове теши: тратит деньги на то, чтоб устроить себе роскошный отпуск! Но попробуйте с ним поговорить, как с человеком, попытаться ему что-то объяснить, попросить от него, чтоб он объяснил, — это все равно что с глухим толковать. (Пытается удержаться от слез, но безуспешно). Не-

легко рассказывать такое про собственное чадо, про плоть и кровь свою, уж вы поверьте...

Я поднял ногу, чтобы показать капитану Дайэмонду дырки на подошвах Соллиных ботинок, и спросил, не найдется ли у него пары лишней обуви. Вместо того, чтобы прямо мне ответить, да или нет, он начал задавать разные вопросы, которые повергли меня в полное смятение.

— Нет, сэр, — ответил я, избегая встречаться с капитаном глазами. — Нет, сэр, у меня нет дома... Где моя мать? Моя мать... она... она умерла...

Эта страшная ложь застряла у меня в горле, и вкус ее был горек. Долго еще потом я не мог себе простить своего матереубийства. Что может быть хуже, чем спекулировать на смерти собственной матери, пусть даже на вымышленной смерти и всего лишь ради того, чтобы получить пару даровых ботинок?

В голосе капитана Дайэмонда зазвучало сочувствие.

— Жаль, мне искренне жаль, Литвинов. — Он выдержал минуту скорбного молчания, как во время поминовения павших в День перемирия. — Но у тебя вроде бы был отчим, так ведь?

С этим я справился проще.

— Мой отчим ушел к другой женщине...

Я замолчал, ожидая реакции капитана. Она была явно осуждающей.

— К христианке, — добавил я безрассудно.

На несколько секунд капитан лишился дара речи. Затем он кивнул и спросил про моего брата Эйби. Когда я в последний раз видел Эйби, нас пришлось насильно разнимать, чтобы мы с ним друг друга не изувечили; и хотя тут уж я не испытывал бы никаких угрызений совести, если бы соврал, что и он тоже умер, но это выглядело бы неубедительно.

— Он уехал в Канаду, сэр. Хочет там стать фермером.

«Не дай Бог, — подумал я, — если он начнет спрашивать про всех остальных моих братьев и сестер!»

Но, к счастью, капитан, кажется, не знал, какая у нас большая семья. Вместо этого он спросил, где и кем мне доводилось работать, знаю ли я какое-нибудь ремесло и как я жил с тех пор, как осиротел. Я что-то плел и с опаской смотрел, как все мои небылицы аккуратно записывались для потомства.

— Тебе нужно было раньше к нам прийти, — сказал капитан, кладя свои записи в большую синюю папку. — Я отлично помню твою мать. Это была порядочная, работающая женщина. И она позаботилась, чтобы ты получил хорошее еврейское воспитание.

— Да, сэр, — ответил я, и на душе у меня было погано.

Скорей бы он выдал ботинки, и убраться бы отсюда подобру-поздорову!

— Ну, а теперь подожди в приемной. Я хочу кое-куда позвонить. Мы не можем позволить, чтобы парень из Еврейской молодежной бригады жил как бродяга. Это никуда не годится! Ну, ничего, мы тебя поставим на ноги.

— Но, сэр, — возразил я, — мне нужна только пара ботинок.

— Чепуха! Об этом не может быть и речи! С нынешнего дня наш попечительский совет станет для тебя и отцом и матерью. И первое, что нужно сделать, — это обеспечить тебе крышу над головой.

В голосе капитана, хотя и сочувственном, звучал металл, напомнивший мне о викторианской эпохе и превративший меня в какое-то подобие Оливера Твиста. Ну, вот, сейчас меня упрячут в рабочий дом! Все говорили, что нет хуже, чем жить на благотворительные подаяния. Но ничего нельзя было поделать; справедливость была скорой и суровой.

В течение следующих двух часов с меня сорвали лохмотья, положили меня в горячую ванну и вымыли карболовым мылом, выдали мне две смены нижнего белья, пару хороших фланелевых рубашек, два галстука, четыре пары шерстяных носков, две полосатых пижамы, подержанный, но вполне прилич-

ный костюм с этикеткой магазина на Сэвил-Роу (костюм был слегка широковат в груди, но вычищен и тщательно отутюжен) и пару крепких новых ботинок с металлическими подковами.

Капитан Дайэмонд внимательно осмотрел меня спереди и сзади, одернул на мне пиджак, поправил галстук, чтобы расположить его геометрически прямо над пуговицами рубашки, и остался вполне доволен моим преображением.

— А носовой платок?

Носового платка у меня не было. Капитан послал кого-то в магазин, и мне вручили полдюжины дешевых, но новых носовых платков. Капитан взял один из них, сложил и заправил мне в нагрудный карман.

— Ну, вот, теперь ты прилично выглядишь. — удовлетворенно сказал он.

Мне было сообщено, что жизнь моя теперь потечет в соответствии со строжайшим, заранее предопределенным распорядком. В восемь часов утра в понедельник я должен был явиться в распоряжение мистера Сесила Золовского на мебельную фабрику Золовского в Уэмбли. Заработная плата мне была положена пятнадцать шиллингов в неделю, минус страховка; мне позволялось оставлять себе полкроны на карманные расходы, а все остальное должно было поступать в распоряжение моей приемной матери. По субботам и еврейским праздникам, само собой, я получал выходной день, и от меня ожидалось, что я буду ходить в синагогу. Мне рекомендовалось быть бережливым и откладывать по шиллингу в неделю на свой сберегательный счет, дабы обеспечить свое будущее.

А затем меня ждал неприятный сюрприз. Капитан решил лично доставить меня к моему новому месту жительства. Даже с завязанными глазами я бы безошибочно узнал места, по которым мы проходили: вонь гнилых фруктов — это был Спиталфилдс, табачные ароматы — Коммершл-стрит, где находились склады табака, пивной дух, исходивший из пи-

воваренного завода Чаррингтона, — это Ханберистрит. А затем Брик-Лейн, где среди толпы вокруг рыночных лотков добрая половина женщин была с нашей улицы. Того гляди, мы с капитаном могли натолкнуться на обвиняющее привидение, явившееся с того света с продуктовой сумкой в руках, и оно кинулось бы крутить мне уши. Становилось невыносимо жарко. Может быть, надо было, не мешкая, бросить пакет с благотворительной одеждой и, пока не поздно, уносить ноги?

— Парень, что это ты еле-еле плетешься? — сердито спросил капитан. — Может, тебе жмут ботинки?

— О да, сэр, просто мочи нет! — простонал я.

Капитан схватил меня за руку и поволок по Бэкон-стрит. О Боже! Это уже было хуже некуда — разве что он привел бы меня на Фуллер-стрит, что была всего в двух-трех сотнях ярдов отсюда. Здесь заканчивался рынок домашних животных, на котором по воскресеньям продавали грустных обезьянок, попугаев, щенят, котят и канареек, прошедших через руки ветеринаров, чтобы они слаще пели. Здесь — не то что в зверинце в Риджент-парке. — можно было смотреть на животных даром, так что сюда постоянно стекалась вся окрестная ребятня.

— Ну, вот мы и пришли, — весело сказал капитан, останавливаясь у боковой двери магазина по продаже птиц. — Дом, родимый дом!

Он поднял висевший на двери молоток и громко постучал.

Я оказался в ловушке.

Миссис Шиллер, моя приемная мать, была большегрудой женщиной, круглой, как полная луна. Щеки ее алели, как розы, и от нее пахло свежеспеченным хлебом. В гостиной, отделанной отполированным до блеска красным деревом, капитан выпил с ней чаю и обсудил мое будущее. На столе появилась серебряная ваза, доверху наполненная фруктами, среди которых не было ни одного бутафорского.

Нужно было сделать определенное усилие, чтобы вспомнить, что за бархатными шторами лежит голодный город, в котором у тысяч отчаявшихся людей нет хлеба насущного.

Когда капитан ушел, миссис Шиллер провела меня в мою комнату. Я должен был делить ее с учеником обойщика Сэмми Фейгельбаумом, который, как с сокрушенной улыбкой сообщила миссис Шиллер, в четыре года осиротел. Кровати были застелены мягкими шерстяными одеялами, а стены оклеены обоями в розочках. Когда-то здесь находилась комната дочери миссис Шиллер, но, благодарение Богу, сейчас эта дочь была замужем за переплетчиком, который имел в Сток-Ньюингтоне собственную квартиру. Я мог у себя в комнате делать все, что мне заблагорассудится, только не курить в постели, как один плохой мальчик, ставший виновником ужасного пожара (курение в постели сурово возбранялось правилами, установленными попечительским советом). Если я курящий, то курить мне следовало выходить во двор. Туалет для меня тоже был во дворе, и я был предупрежден, что, сделав там свое дело, я должен поднимать стульчак («Уж извини за подробность», — деликатно добавила миссис Шиллер).

На обед подали луковый суп, четверть вареной курицы с вкусным салатом из моркови, картофеля и маринованных огурцов и черносливовый компот с ломтиками лимона. Готовила миссис Шиллер потрясающе.

— Слава Богу, аппетитом тебя Бог не обидел, — заметила она одобрительно.

Она с любопытством оглядывала меня, и ее огромные груди вздымались над столом.

— Я уверена, что где-то тебя раньше видела, — сказала она.

Тут ее внимание отвлек Сэмми Фейгельбаум, вернувшийся с работы; но, подавая пищу, она нет-нет да и взглядывала на меня, пытаюсь вспомнить, где мы с ней могли раньше встретиться.

В десять вечера в доме потушили свет. Сэмми Фейгельбаум — не очень-то разговорчивый парень — аккуратно сложил свою одежду, забрался в постель и вскоре захрапел. Я расшнуровал ботинки и засунул их под кровать. В темноте была черными крыльями ворона. Хасид в лапсердаке пытливо глядел на меня своими огромными глазами, в которых светилось выражение грустной невинности. Мне приснился ужасный сон, будто моя мать родила целый выводок злобных котят.

Мистер Сесил Золовский оказался юрким молодым человеком, он носил очки в золотой оправе и пиджак с широкими лацканами, как у гангстеров в кино; у него были холеные руки и черные, тоненькие, словно нарисованные фламастером усики, как у Роналда Колмена.

— Папа! — закричал он. — Тут мальчик, которого прислал попечительский совет!

Ему приходилось кричать, потому что из цехов, находившихся этажом ниже, доносился оглушающий шум.

— Минутку! — раздраженно крикнул мне мистер Сесил и вышел в соседнюю комнату.

Затем оттуда появился посмотреть на меня мистер Золовский-старший. Его туша едва пролезла в дверь: на огромном лысом черепе у него примостилась плоская измазанная рабочая кепочка. Маленькие глазки мистера Золовского-старшего пропутешествовали по мне с головы до пят. Затем он загадочно кивнул, и его нижняя губа опустилась и задрожала.

— Ну, — сказал он сыну, — поставь его на шеллачную полировку.

— У меня на полировке уже есть двое парней! — прокричал Сесил.

Золовский-старший раздраженно махнул рукой.

— Ну, пусть он учится работать на луцильном станке.

Сесил, кажется, был в скверном настроении. Он повел меня вниз, мы прошли мимо рядов гремящих

станков, и он проорал что-то на ухо бригадиру. Бригадир, в свою очередь, приставил губы к уху Сесиля и проорал ему что-то в ответ. Мне показалось, что я тут не очень-то желанный гость.

— Как тебя зовут? — спросил бригадир.

Это был маленький крепкий человек со скрипучим голосом, напоминавшим звук пилы, врезавшейся в древесный ствол.

Я назвал свою фамилию.

— На кой черт мне твоя ебаная фамилия, сынок? Имя!

Я назвал свое имя.

— Это черт знает что, язык сломаешь, — крикнул он. — Я буду звать тебя Джек. Так вот, Джек, возьми вот эту ебаную метлу и подмети этот ебанный цех, отсюда туда. Покамест ты кончишь, тут опять будет везде ебаная грязь, так начинай мести обратно, отсюда и назад.

— Мистер Золовский сказал, что я буду учиться работать на луцильном станке! — прокричал я.

В конце концов я пришел сюда не для того, чтобы быть подметалой, а для того, чтобы научиться полезному ремеслу.

— Мети этот ебанный пол и заткнись!

Я еще не успел подмести этот ебанный пол во второй раз, как начался чайный перерыв. Грохнула тишина, словно закрылись тяжелые железные ставни, и рабочие собрались в небольшие кучки или потянулись во двор покурить да попить чаю. Я нашел пустую банку из-под какао и наполнил ее чаем, но как раз в этот момент бригадир свистнул в свой свисток. Рабочие стали медленно засовывать сигареты за ухо и неохотно поплелись к своим станкам.

— Эй, Джек, держи хвост пистолетом! — бодро прокричал бригадир, загоня рабочих в цех.

После перерыва он поставил меня варить клей. Мне надлежало поддерживать огонь, кидать в котел с горячей водой коричневые плитки клея и помешивать воду, пока вязкая смесь не начинала издавать

определенный резкий запах. Этот запах и тепло огня навевали на меня ностальгические воспоминания о школьных годах. Меловая пыль в лучах солнечного света, унылая ирония усталых учителей, красные от натуги лица мальчишек, пытающихся бунтарски испортить в классе воздух... Сны о прошлом, которое в воспоминаниях закруглило свои некогда острые углы. О тех днях, когда я еще не встретил прекрасную Ханну Фишбейн, которую — кто знает? — я мог бы и завоевать своей победоносной любовью.

— Снова уснул? — рявкнул мне в ухо бригадир, и я почувствовал боль под ребрами.

Затем бригадир послал меня разгружать обработанные детали. Я таскал крышки столов в плотницкий цех, где к ним приделывали ножки. Я снова и снова подметал цех. Этот гад заставлял меня без отдыха метаться по цеху, пока в шесть часов не завыла сирена.

Домой я обычно возвращался не раньше половины восьмого. Поезд от Уэмбли всегда был переполнен усталыми рабочими, издающими запах пота, они клевали носом, и некоторые засыпали прямо стоя. Я был слишком утомлен, чтобы жить. После ужина я сыгрывал с Сэмми Фейгельбаумом партию-другую в шашки и шел в кино или просто слонялся по Уайтчепел-род, глаза на девушек, которые лефилировали в серебристых лисах, оставшихся от времен процветания. Казалось, дела мои пошли в гору, но полный желудок и позвякивание мелочи в кармане меня не радовали. Настроение у меня было постоянно подавленное, и я все больше падал духом. «Ой, ты, мамочка родная, спаси меня, я погибаю!»

Миссис Шиллер решила, что я слишком много времени провожу в одиночестве, и это нехорошо.

— Нынче вечером приходи ко мне в гости, — сказала она как-то утром, вручая мне сэндвичи, когда я отправлялся на фабрику. — У нас будет вечеринка, тебе понравится, вот увидишь.

Из Сток-Ньюингтона приехала в гости дочь мис-

сис Шиллер со своим мужем. Грудь у дочери торчала прямо, как пики, а зять миссис Шиллер был одет в изящный клетчатый костюм и совсем не походил на переплетчика. Кроме меня и Сэмми, единственным гостем был какой-то старик, который говорил только на идиш и курил русскую папиросу с бумажным мундштуком, тщательно стряхивал пепел в медную пепельницу, которую хозяйка специально для него откуда-то вытащила.

Мы пили чай с лимоном, ели самодельные макароны и халву. Миссис Шиллер завела граммофон и поставила пластинку с записью знаменитого синагогального кантора Гольдфарба. Прослушав пластинку, переплетчик воющим вибрато стал пародировать пение Гольдфарба — он, видимо, считал, что это должно быть очень смешно. По всей Англии проходили демонстрации и митинги голодных, но в доме миссис Шиллер часы, казалось, остановились еще в 1911 году. На вечеринке мне было еще тоскливее, чем когда я один бродил по улицам. Я вышел во двор покурить и пожалел, что мне не хватает храбрости уйти отсюда и отправиться домой.

Но мне продолжало везти, как утопленнику. Через несколько дней на фабрике один столяр отозвал меня в сторону.

— Мы тут давеча о тебе толковали, — начал он очень недружелюбным тоном.

— Обо мне? Что я сделал?

— Ты зарабатываешь пятнадцать в неделю, так?

— Минус страховка, — напомнил я.

— Нормативная ставка за такую работу — семнадцать с половиной, — заметил он угрюмо. — Как ты и сам отлично знаешь.

Он вынул из кармана комбинезона билет члена коммунистической партии и отрекомендовался:

— Фельдман. Неофициальный рабочий лидер цеха. Да стоит мне только мигнуть, и тебя так вздуют, что ты своих не узнаешь...

В этот момент к нам устремился бригадир.

— Ладно, поговорим после, — бросил Фельдман и пошел к своему рабочему месту.

В обеденный перерыв ко мне подошли уже трое — члены партийной ячейки фабрики. Они были настроены воинственнее, чем Красная армия. Говорил в основном Фельдман. Где моя классовая солидарность? Я позорю память шести мучеников Толпаллы — основателей и героев британского профсоюзного движения. Я свожу на нет экономические достижения рабочих, вырванные у презренных капиталистов в ходе жестокой борьбы. И я еще смею называть себя сознательным пролетарием! Да ведь я капиталистический прихвостень, троцкистский вредитель, я вонзаю нож в спину советскому рабочему классу!

Несправедливость этого чудовищного обвинения так меня разволновала, что я даже не смог как следует защищаться. Но если Фельдман говорил правду, что за такую работу следовало платить больше, чем платили мне, значит, объективно — с диалектической точки зрения — он был совершенно прав.

Я думал об этом разговоре всю вторую половину дня и пришел к выводу, что я обязан стать на защиту классовой солидарности.

Сесил Золовский снял свои очки в золотой оправе, откинулся в кресле, развернулся к окну и в изумлении уставился в небо.

— Ты работаешь здесь всего пару недель и уже хочешь прибавки! Никогда ничего подобного не слышивал!

Затем он рассказал мне, как он еще мальчишкой начал работать в отцовском бизнесе за шесть шиллингов в неделю. Прошел целый год, прежде чем отец поднял ему зарплату до семи шиллингов. Сесил еще не окончил своего рассказа, как в контору вошел Золовский-старший, совершавший свой обычный обход предприятия; в уголке рта у него торчал обрубок сигареты.

— Догадайся, чего он хочет? — мрачно спросил отца Сесил. — Он уже просит о прибавке.

Старик погладил себя по брюху.

— Возьми еврейского мальчика, чистого пишерле, — пробурчал он, — и оглянуться не успеешь, как он уже открыл собственное дело. Ладно, прибавь ему пять шиллингов.

Сесил замахал руками перед лицом старика.

— То есть как это? Что у нас тут, сиротский приют, что ли? Да ведь мы же с тобой оба состоим в попечительском совете. Что мы, благотворительностью занимаемся или бизнес делаем?

— Ах, Сесил! — Старик поднял руку и сделал жест, отметающий все дальнейшие возражения. — Несколько шиллингов туда, несколько шиллингов сюда — какая разница? Прибавь.

Сесилу ничего не осталось, как повиноваться.

— Я из кожи вон лезу, чтобы внедрить современные методы организации производства, — простонал он, — научную систему оплаты труда...

В глазах у него заблестели слезы.

Позднее я увидел, как он пришел в цех и стал о чем-то советоваться с бригадиром, и оба они поглядели в мою сторону. В пятницу в моем конверте с заработной платой я нашел восемнадцать шиллингов (из моей повысившейся заработной платы была вычтена страховка и деньги за чай). Кроме того, в конверте лежала записка, извещавшая меня, что предприятие больше не нуждается в моих услугах.

Я рассказал обо всем этом Фельдману, надеясь, что он по крайней мере объявит забастовку протеста.

— Ты хороший парень, — сказал Фельдман. — Ты нанес удар по классу эксплуататоров.

Может быть, так оно и было, но меня это не утешило.

— Подожди здесь, — сказала секретарша и куда-то ушла.

Я сидел в комнате, украшенной суровым патрицианским портретом основателя этой благотворитель-

ной организации — сэра Мозеса Монтефиоре. Тут нечего было почитать, чтобы убить время, — только один номер «Еврейской хроники», заполненный неинтересными сообщениями и рекламами. Я встал, подошел к окну и уставился на здание Армии спасения, находившееся на другой стороне улицы. На тротуаре, как обычно, сидели и лежали бродяги. Один засунул руку к себе под рубашку и, должно быть, пытался поймать там блоху. Другой перочинным ножом отскребал носки от затвердевших мозолей на своих подошвах. Какой-то старик в армейской шинели до пят крошил себе в трубку сигаретные чинарики.

Я было уже отвернулся, подавленный перспективой снова присоединиться к этому братству, как на улице появился молодой хасид, которого я когда-то встретил на раздаче супа; он навеки запечатлелся у меня в памяти. С тех пор, как я его видел, хасид изрядно отощал и обтрепался и казался теперь даже моложе, чем раньше; он поднял глаза на окно, у которого я стоял, и в его мягких глазах засветилась святость. Я вспомнил о Пинни, самом тихом и многострадальном из всех нас. В мягких манерах Пинни тоже были ростки мученичества. Я стоял и глядел на хасида, пока не вернулась секретарша, которая повела меня в конференц-зал. Когда я отходил от окна, хасид все еще сидел на тротуаре, глядя в небо.

За длинным столом величественно восседало пять человек — среди них капитан Дайэмонд. Они поглядели на меня хмуро и задумчиво и не предложили мне сесть. Функции председателя выполнял, кажется, ложиллой джентльмен, прямой, как жердь; из его узкого лица далеко вперед выступал огромный, властный нос.

— Может быть, начнем, сэр Авраам? — уважительно осведомился капитан, и процедура началась.

Члены комитета вынули дорогие автоматические ручки и, по мере того, как излагалось мое дело, что-то помечали у себя в блокнотах. Я заметил, что один

из них написал «сирота», а другой «отдан на попечение». Все они одобрительно кивнули, когда капитан Дайэмонд в своей обычной покровительственной манере указал на то, что мне были предоставлены все возможности начать вести достойный образ жизни.

— Однако, — продолжал он отрывистым тоном, каким военные рапортуют о выполненном боевом задании, — его работодатель был с сожалением вынужден...

— Минутку! — прервал председатель. — Пожалуй, мы попросим молодого человека самого рассказать, что именно произошло.

Он наклонился ко мне, и в глазах его сверкнула суровость, как у судьи, который готовился приговорить обвиняемого к смертной казни.

— Почему твой работодатель тебя рассчитал?

— В... в... видит...те ли, с...сэр...

Сэр Авраам повернулся к капитану.

— Он и раньше страдал заиканием?

— Разумеется, нет.

— Ну, мальчик, отвечай, — мягко и ободряюще сказал другой член комитета. — Начни сначала. Расскажи, как все было, и не бойся.

— Все это началось у здания Армии спасения... — начал я.

— Армия спасения? — Во взоре председателя сверкнул гнев. — Надеюсь, ты не отказался от своей религии?

— Я, сэр? — воскликнул я, всем своим видом показывая, каким чудовищным кажется мне такое предположение. — О, что вы, я никогда в жизни этого не сделал бы!

— Отлично, — сказал кто-то с чувством удовлетворения в голосе. — Один из предков сэра Авраама Мендосы был сожжен на костре за то, что не пожелал отречься от иудаизма. Не так ли, сэр Авраам?

— Именно так, — улыбнувшись, ответил председатель. — Дон Израиль Лопес Мендоса. Это было в

Толедо в 1492 году. Казнь состоялась в присутствии самого Великого инквизитора.

Это, казалось, настроило всех на дружеский лад, и я, успокоившись и осмелев, рассказал, как именно все произошло, — рассказал, что я попросил прибавки только для того, чтобы соблюсти принцип рабочей солидарности. Сэр Авраам поспешно написал что-то на листочке бумаги и передал этот листок через стол капитану Дайэмонду. Капитан написал ему ответ. Они хмуро взглянули на меня, и я запнулся на середине фразы под их взглядом, выражавшим явное неодобрение.

— Так ты говоришь, что тебя сбил с пути истинного политический агитатор? — спросил сэр Авраам.

Как ни плохо я был подкован в идеологических вопросах, я понимал, что между мной и им лежит непроходимая пропасть. Его класс и мой находились по разные стороны баррикад. Мое дело было явно проиграно.

— В твоём положении не пристало тебе иметь такие... гм... такие политические принципы, — с омерзением в голосе проговорил сэр Авраам. — Капитан Дайэмонд, огласите, пожалуйста, то письмо.

Из синей папки с моим именем на обложке — а папка была довольно пухлая — извлекли письмо. Капитан прокашлялся и прочел следующее обвинительное заключение:

— «Дорогой сэр! Я обращаюсь к вам по поводу Джека Литвинова. С глубоким сожалением вынужден вам сообщить, что вышеупомянутый юноша был уволен, ибо он проявил себя нерадивым работником и в то же время смутьяном, что несовместимо в его пребыванием в качестве ученика на нашей мебельной фабрике. С уважением — директор фабрики Сесил Б. Золовский».

Сэр Авраам посмотрел на своих коллег. Разумеется, у меня здесь не было защитника.

— Ну, что скажешь, мальчик?

Эту сцену я заранее репетировал перед зеркалом. Но разыграл я ее не самым удачным образом.

*Я:* И вовсе я не смутян. Он врет!

*Сэр Авраам* (сурово): Держи себя в рамках; не добавляет тебе говорить таким языком.

*Я:* Я попросил лишь то, что мне положено. За такую тяжелую работу — и всего пятнадцать шиллингов! Клянусь жизнью моей матери... то есть памятью моей матери...

(У меня аж в сердце захолонуло, когда я сделал эту ошибку, хотя я ее тут же исправил. Интересно, они заметили? На лице у капитана была презрительная гримаса).

*Капитан Дайэмонд:* Обратите внимание, джентльмены, в письме мистера Золовского ничего не говорится о проблемах, связанных с заработной платой. Едва ли мне следует напоминать вам, что мистер Золовский жертвует деньги на деятельность нашей организации уже в течение многих лет. Это человек высочайшей честности, заслуживающий всяческого уважения.

*Сэр Авраам:* Разумеется, всяческого уважения! (Раздраженно сверлит меня глазами). Что происходит с мальчиком, капитан Дайэмонд? Отчего он ежится и переминается с ноги на ногу? Может быть, ему нужно опорожнить свой мочевой пузырь?

*Капитан Дайэмонд:* Литвинов, ты найдешь это заведение в конце коридора.

*Сэр Авраам:* А когда облегчишься, подожди в коридоре, пока тебя не позовут.

— Мы очень тщательно обсудили твое дело, — сказал мне сэр Авраам, когда я вернулся. — и, честно говоря, мы все о тебе довольно невысокого мнения. Кажется, ты очень непослушный подросток. Как я понимаю, и в Бригаде ты был на довольно плохом счету. Нарушал дисциплину. Такое поведение до добра не доводит...

Он вынул из кармана носовой платок и шумно высморкался. Казалось, он не знал, что еще сказать.

— Политика! — пробурчал он. — Да, политика! В современном мире есть много вещей, которые ты еще не способен понять, для этого тебе нужно повзростать. Нет ничего более невыносимого, нежели самоуверенное невежество. Запомни это. Если бы не твое безвыходное положение, мы бы могли умыть руки и сложить с себя ответственность за твое будущее. Но мы решили попытаться предоставить тебе выбор: либо ты сделаешься достойным гражданином, либо погрузишься в пучину никчемной, низменной жизни. А этого, я уверен, тебе не хочется, — добавил он уже более благожелательным тоном.

Уверившись, что мне этого действительно не хочется, сэр Авраам покрутил головой и обратился к одному из членов комитета:

— Мистер Грин, может быть, вы внесете какое-нибудь предложение?

Мистер Грин был крупный, энергичный мужчина.

— Я занимаюсь торговлей мясом, — сообщил он мне. — Парень ты вроде бы крепкий. Я могу тебя устроить грузчиком на Смитфилдский рынок. Будешь носить мясо. Для начала положим тебе тридцать шиллингов в неделю. Ну, как?

Опять Смитфилд? О нет... Но, с другой стороны, тридцать шиллингов! Каждую неделю! Это же целое состояние! Я постарался ответить как можно более низким голосом, голосом «крепкого парня»:

— О да, сэр! Я хотел бы работать грузчиком на рынке...

— Это нелегкая работа, — предупредил мистер Грин с мрачной усмешкой, — грязная и тяжелая, всю спину ломить будет. Рабочий день — с четырех часов ночи до одиннадцати утра. И, должен тебя предупредить, чтоб никакой волюнки зимой, когда по утрам такая стужа, что до костей прохватывает. Но зато такой труд полезен для здоровья, и если ты будешь работать добросовестно, с душой, это может оказаться для тебя хорошим началом в жизни.

При упоминании о душе у меня шевельнулось

смутное подозрение. Кошерным ли мясом торговал мистер Грин? Я вовсе не был религиозным, но при этом еще ни разу в жизни не попробовал нечистого мяса, и отрубленные свиные головы в христианских мясных лавках—излюбленное лакомство рабочих— всегда вызывали у меня отвращение. Этот вопрос нужно было выяснить.

— Не придется ли мне таскать свинину? На такое я никогда не соглашусь, сэр.

Это было очко в мою пользу, и по их улыбкам и кивкам я понял, что меня больше не считают неисправимым.

Смитфилд в четыре часа утра. Кошмар человеческого пищеварения. Холодный свет отражается в блестящих стенках грузовиков-холодильников. Грузчики в синих халатах разгружают умерщвленных животных, на тележках отвозят их под высокие своды рыночных залов и подвешивают там на тяжелые железные крюки. Рядами свивают головы, на мордах застыла слизь. И все пронизывает запах, доносящийся с заднего двора, где потроха, кости, волосы, кишки вывариваются на клей или на удобрения.

Все это нисколько не смущало смитфилдских торговцев, которые на весь мир прославились своим веселым нравом, однако я с дрожью в коленях ждал момента, когда мне придется собственными руками ухватиться за мертвую плоть животных.

— Ничего, — говорили мне, — к этому быстро привыкаешь.

В конце концов это было ничуть не противнее, чем обрабатывать шкуры, содранные с тел животных, которых разводили и потом убивали ради их красивого меха.

Ко мне подошел бригадир; он широко улыбался, и у него было открытое, обветренное лицо человека, выросшего в деревне.

— Ты тут новенький? — спросил он. — Ну, что ж, обмоем твой первый рабочий день чашкой чая. .

Мы сели в маленькой конторе: чай был темный, сладкий и терпкий; и бригадир с огнем в глазах заговорил о смитфилдском братстве. Ни один смитфилдец никогда не подвел товарища. Грузчики живут, как лорды. Они установили тут свои законы: рыночная таверна открывается для них в пять часов утра, они спят весь день, если им хочется, или работают где-нибудь еще ради дополнительного заработка. У самого бригадира был табачный киоск около футбольного стадиона «Арсенал» — управляться с этим киоском бригадиру помогала жена. Ни одного дня в своей жизни он не прожил на пособие по безработице или на благотворительную помощь.

Нагружалась цепь мясных фургонов. Бригадир выбрал безголовую тушу, поднял за ноги и взвалил себе на спину.

— Ну и пирожное! — крикнул он. — Вот, возьми вот эту, она вроде поменьше.

Это была свинья.

— Да нет, сынок, это не свинья. Меня предупредили, чтоб не ставить тебя на свинину. Это барашек. Из Новой Зеландии.

— Похоже на свинью, — сказал я.

Бригадир рассмеялся.

— Чарли! — позвал он проходившего мимо грузчика. — Что это за животное? Скажи парню.

Чарли курил трубку.

— Это точно не слон, — сказал он, не вынимая трубки изо рта.

— Это барашек, ей-ей! — повторил бригадир, хихикнув.

Но что бы это ни было, животное явно было мертвым, и я не мог его коснуться.

Ночь рассеивалась, как дым, когда я покинул Смитфилд и бесцельно побрел сквозь голубые сумерки занимавшегося дня. Поливочная цистерна, которую тащила чахлая лошаденка, превратила улицу в черную реку. Город был пуст, словно вымер от чумы. У меня возникло знакомое ощущение, что

вся моя нынешняя жизнь — это сон, от которого я проснусь где-то в другом месте и в другую эпоху. Кто я такой? Какова цель моего существования? Я задавал себе эти закомуристые вопросы, присев на какую-то плиту на Банхилфилдском кладбище и уплетая сэндвичи миссис Шиллер возле могилы Бэньяна. Джон Бэньян, 1628—1688. Я никогда не читал его стихов. Не задавал ли он тех же самых вопросов, и не ответил ли он на них как-нибудь так, чтобы я мог понять эти ответы?

У меня были более насущные проблемы, столь же неразрешимые. Как провести время, где раздобыть денег, куда пойти? Я потратил несколько своих последних пенсов и, когда открылись кинотеатры, зашел в темный зал и занял место среди туманных мужчин и женщин, устроившихся в дешевых первых рядах. Прошло несколько часов; я засыпал, просыпался, снова засыпал. По экрану галопом скакали ковбои, они загоняли свой скот в бойни моих сновидений.

Снова наступил вечер, и я оказался в Сохо — впервые за несколько месяцев. В дешевом подвальном ресторанчике на Фрит-стрит собиралась богема, там можно было за четыре пенса получить тарелку супа и кусок хлеба. Конечно, ресторанчик был полон художниками и поэтами, жившими во грехе с девицами, отдававшими им свои тела так же щедро, как раздавали хлеб в сталинском раю. Пьяный каналец по имени Роджер угостил меня чашкой кофе. Он писал роман с продолжениями под названием «Черный ястреб налетает снова» для юношеского еженедельника, и он подливал мне в кофе виски из карманной фляжки — в благодарность за то, что я подсказал ему несколько удачных сюжетных ходов.

Когда все пьяницы разошлись и даже проститутки ушли на дело, официант выставил нас с Роджером из ресторанчика. Роджер поглядел на меня, прищурившись.

— Ну, а теперь тебе пора идти к мамочке и делать баиньки, — сказал он, икая.

Затем он помахал мне рукой и нетвердой походкой двинулся прочь. Я сел на край тротуара и заплакал, потому что улица вздымалась, как море, и мне негде было ночевать. Несколько позднее, все еще не протрезвев, я несколько раз постучал в парадную дверь миссис Шиллер. На верхнем этаже осторожно приоткрылось окно.

— Кто это там стучится так поздно? — спросила миссис Шиллер. — Уже ночь на дворе!

Она спустилась вниз, набросив шубу на ночную рубашку, и вскрикнула:

— *Ой, готт! Эр ис шикер!*

Она открыла калитку, я вошел во двор, и меня стошнило.

— *А идишер кинд! А идишер кинд!* — запричитала миссис Шиллер, прижав одну руку к щеке.

Она отвела меня в комнату и сама раздела меня так осторожно, словно я был ее собственным горем. Кажется, она любила меня куда больше, чем Фейгельбаума, который не доставлял ей решительно никаких неприятностей, — и из-за этой любви она предала меня.

На следующий день капитан Дайэмонд устроил мне военный трибунал, на котором он один выполнял функции всех членов трибунала, и вынес приговор. Я был объявлен неисправимым нравственным отщепенцем. Позором еврейской общины. И поэтому, хоть умри я в канаве, попечительский совет помощи еврейским беднякам умывал руки и снимал с себя ответственность за мое будущее.

Мне оставался еще один бунтарский жест. Я растегнул пиджак и бросил его на стул.

— Если можно, я хотел бы получить назад свою одежду.

— Твою одежду? Сейчас же убирайся отсюда вон!

— Я знаю свои права, — настаивал я.

— Да ты сошел с ума, парень! — сказал он, безнадежно покачав головой. — Просто сошел с ума!

Мою прежнюю одежду разыскали где-то в подва-

ле. Она пропахла карболкой. Кто-то позаботился о том, чтобы ее продезинфицировали. То ли я успел вырасти, то ли одежда села, но она на меня едва налезла; однако из обмундирования, выданного мне попечительским советом, я оставил себе только ботинки да чистое нижнее белье.

Было все еще жарко. Я перешел улицу, надеясь, что у Армии спасения смогу найти Тревора. Внизу в столовой сидел мой золотой хасид — одинокий, как первый человек на земле или как последний. На его прозрачном лице горел, как пламя, голод.

— *Шалом!*

Я взглянул в его грозные глаза, и душа моя содрогнулась.

Он угрюмо кивнул, губы его продолжали шептать древние молитвы на древнем языке, и я понял, что мы живем в разных поясах времени.

— Слушай, — сказал я, — здесь не место для еврейского парня.

Я схватил его за руку — под рукавом она была тоща, как палка, — и вывел его наружу.

— Или туда! — Я ткнул пальцем в здание, где помещался попечительский совет. — Попроси там помощи!

Хасид не двинулся с места.

— Пожалуйста! — сказал я.

Наконец, до него дошло, о чем я говорю. Он взглянул на меня со слабой, покорной улыбкой и пожал плечами.

— *Шалом,* — сказал он и начал переходить улицу.

## 12. Школа жизни

Как раз в тот день, когда в Вене убили канцлера Дольфуса, мы с Морри Шпицером пришли в школу живописи Бетнал-Гринского мужского института. У меня в дневнике сохранилась сделанная в то время запись: «25 июля. Начал изучать живопись. Слепил из глины яйцо. Как сказал мистер Снуд, овоид — то есть яйцеобразная форма — есть основная форма жизни. Сегодня погиб диктатор Дольфус. Blut fascisti!». Капитализм не может справиться со своими собственными противоречиями». В то время я тоже был не уверен, что смогу справиться со своими собственными противоречиями.

Свой дневник я начал писать в настроении совершеннейшего отчаяния. Жизнь ускользала из рук. Ее нужно было как-то задержать, остановить, схватить. Я слонялся по Уайтчепел-род, глаза на восковые манекены в витринах, а потом вместе с уличным потоком дрейфовал к западу, и меня выносило на Уголок ораторов, где люди с огнем в глазах говорили о том, что мир проклят и терпит крушение; или я в одиночестве бродил по узким улочкам Сохо, возбуждая себя тем, что, сузив глаза, разглядывал флагирующих женщин, или читал какие-то мудрые трактаты в Церкви Христа-ученого — прибежище секты христианской науки. Ничего не происходило — ни хорошего, ни дурного. Вокруг меня жизненные события во всем их многообразии случались со всеми другими людьми. Я должен был сделать так, чтобы что-нибудь случилось и со мной.

В то время моим лучшим другом был Морри Шпицер — застенчивый левша, для которого весь мир выглядел шиворот-навыворот: Морри слишком

<sup>1</sup> Кровавые фашисты!

много занимался онанизмом и чуть ли не все свое свободное время проводил в картинных галереях. Он работал в кашерной мясной лавке своего отца, где потрошил кур. Но это занятие вызывало у него такое отвращение, что он прятал куски мяса себе в карманы вместо того, чтобы их съесть, и иногда забывал от них избавиться, прежде чем они начинали вонять. Он был ужасно рассеянный: для того, чтобы улучшить свою память, он даже прошел курс пельманизма. Но он никак не мог запомнить, что нужно заботиться о собственной чистоте. Рубашка у него всегда была запачкана куриной кровью, брюки постоянно в пятнах застывшего жира, и он никогда не брил пушок, выступавший на щеках, которые, если бы не это, были бы мягкими и нежными.

Нас сблизило то, что мы с ним ненавидели одно и то же и оба были подавлены собственной неполноценностью. Мы чувствовали влечение и одновременно отвращение к женской сексуальности, и у Морри, как обычно бывает у вегетарианцев, женское тело вызывало неприязнь и ужас. Когда женщины, покачиваясь, шли на своих высоких каблуках, они, по словам Морри, напоминали ему кур, которые, высоко поднимая ноги, ходят по двору птицефермы. Морри был пассивнее меня. В тех случаях, в которых он был реформатором, готовым дать людям возможность исправиться, я бушевал, как негодующий ангел мести, обвинявший высшие классы в продажности, а низшие — в рабской покорности. Иногда во мне вспыхивало желание поскорее узнать тайны мира — до тех пор, пока мир не подобрался ко мне и не сокрушил меня посредством войны, нищеты, труда и пренебрежения. И времени оставалось мало. К восемнадцати годам — а этот возраст казался мне критическим порогом — я твердо решил, что должен овладеть учением Карла Маркса, стать выдающимся писателем и вооружиться другими видами интеллектуального оружия, которые дали бы мне превосходство над другими.

Потому-то во мне такое нетерпение вызывали педагогические методы мистера Снуда. Он заставлял нас точить карандаши и методично рисовать какие-то кубы, цилиндры и разные мертвые вещи, вроде ваз, купленных у Вулворта.

— Прежде всего, ребята, нужно выучить алфавит, — говаривал он, — а уж со временем вы научитесь изображать поэзию человеческого тела.

И он указывал на скамейку, на которой стояли человеческие торсы, сделанные из терракоты.

Он говорил таким снисходительным тоном, словно давал нам понять, что, преподавая в Бетнал-Гринской школе живописи, он, мистер Снуд, служит обществу; но однажды я увидел, как он одиноко сидел в дешевой закусочной, положив свой буржуазный зонтик на колени, облаченные в буржуазные полосатые брюки, и уминал свою овечью голову за шесть пенсов с таким видом, будто он до того уже целую неделю не обедал.

В классе нас было человек двенадцать. Лучше всех рисовали двое: мусорщик Артур Джалл, который в своих акварелях обычно изображал корабли, лежащие в окаймленных пальмами лагунах, и пожилой еврей-бакалейщик по фамилии Мискин — человек настолько старомодный, что он никогда и нигде не появлялся без кипы. Мискин, погруженный в задумчивый транс, стоял перед мольбертом и, брызгая краской на свою седую бороду, заполнял холсты уродливыми беременными женщинами, робкими больными детьми и неуклюжими, как огородные пугала, раввинами, которые угрожающе размахивали свитками Торы перед ликом Господа. Нередко я останавливался и следил, как он работает. Мискин намешивал такие яркие, сочные краски, что их хотелось лизнуть языком; а затем он медленно прикасался кистью к холсту — мазок здесь, пятно там, и на холсте одно за другим возникали лица, словно бы выхваченные отражением пламени из густого мрака.

— Мистер Мискин, научите меня рисовать, — попросил я однажды.

Он смущенно улыбнулся.

— Боже упаси, чтобы я-таки стал вкладывать тебе что-то в голову! Как я могу научить тебя тому, что ты видишь сам своими собственными глазами?

Но чем больше я старался пользоваться своими собственными глазами, тем меньше мне удавалось свести воедино отдельные части окружающего меня мира. Взять хотя бы улицу, на которой мы жили в хаосе света, красок, форм, голосов, жестов, движений, шума и тишины. Мы толкались в этой кирпичной канаве, как будто мы понимали, куда мы идем; но в вонючей ночи, задыхаясь и барахтаясь в уродливых кошмарах, мы вдыхали лишь отработанный, использованный воздух. Когда я оставался в четырех стенах, меня охватывала паника. Я стоял перед зеркалом и допрашивал свое отражение. Отдельные его части были плохо пригнаны друг к другу, левая сторона излучала невинность, а правая — хитрость. На меня неодобрительно глядело отталкивающее, плохо вырубленное лицо, образованное вековыми бедами моих предков. И по мере того, как из комнаты постепенно уползал дневной свет, у нас за спинами вырастали тени, которые взмахами своих крыльев отгоняли будущее.

Месяца через два-три мистер Снуд решил, что мы доросли до той степени художественной зрелости, когда мы способны рисовать человеческое тело. Он снял с полки терракотовую модель женского тела и щеточкой смахнул с нее пыль. Нос у фигуры был выщерблен, на левой груди была трещинка.

— Обнаженная женщина! — с благоговением в голосе сказал мистер Снуд, ставя фигуру на подставку. — На то, чтобы изучить обнаженное женское тело, можно истратить всю жизнь.

Сам он стал трудиться над собственным произведением — над изображением глиняного бюста девушки с оттопыренными губами, как у фигур Эпштейна; время от времени он отступал на несколько шагов от мольберта, чтобы удовлетворенно взгля-

нуть на свое творение. Наконец, он, заглядывая нам через плечо, стал оценивать и наши работы. У Морри дело хорошо спорилось, но когда очередь дошла до меня, мистер Снуд взял карандаш и сделал несколько беглых поправок.

— Парень, ведь тут голова совершенно непропорциональна. Она занимает восьмую часть тела. Что у нее, вода в черепе?

Закончив свой эскиз, я показал его Мискину. Он почесал свою костлявую переносицу и вздохнул.

— В Одессе, — сказал он, — мальчишки ловят рыбу леской. Живую рыбу, она красиво двигается.

Неодобрительно улыбнувшись, он вернул мне мой дурацкий рисунок. Я разорвал его и выбросил в мусорный бак.

У меня в дневнике есть запись за 10 декабря: «Нарисовал еще одну гипсовую пакость. Хотелось разбить ее на куски. Она мертвая, мертвая, мертвая!» Я был настолько одержим идеей рисовать с живой натуры, что даже подумывал просверлить дырку в стене спальни, чтобы следить за Ритой Шомберг, когда она будет раздеваться. Рита была пухлая девятнадцатилетняя девушка; она одевалась в облегчающие свитера и поглядывала на меня с сонным вождением. Она мучила меня во сне, но вообще-то она была совсем не в моем вкусе; и я говорил себе, что хочу использовать ее обнаженную только ради искусства. За долгие часы, что я провел, стоя на коленях и наблюдая в замочную скважину, как моя мать примеряет платья на своих клиентках, я получил кое-какое обрывочное представление об анатомии женского тела — об округлых ягодицах, широких бедрах, пухлой плоти, выпирающей из тугих корсетов. Вспоминая все это и сопоставляя одну подробность с другой, я мысленно нарисовал для себя общий портрет Риты Шомберг, вооруженной для секса, но во всем этом мне не удавалось представить себе истинных очертаний женщины — хрупкого, но сладострастного идеала, который притягивает к себе неодолимый прибой похотливых желаний.

Я стоял и смотрел, как Морри трудится в отцовской лавке. Пол был покрыт слоем окровавленных опилок, и в воздухе кружились перья и пух. Морри хватал мертвую птицу, отрубал ей лапы в коленях и быстрым ударом топора отделял голову. Затем он с гримасой горечи и отвращения бросал куриную голову в железный бак, запускал руку в птичье тело и вытаскивал дымящиеся внутренности. Я отворачивался, меня подташнивало от теплого запаха слизи. На металлических крюках, подцепленные за шею, висели ряды мертвых кур. Закончив работу, Морри мыл руки под краном, и мы отправлялись в кино.

Как-то в воскресное утро этой осенью мы пошли следом за двумя смешливыми девчонками в парке «Виктория». Они сели на скамейку у озера, вынули зеркальца и стали мазать себе губы, поглядывая на нас в зеркальца. Одна из девчонок подняла ногу и медленно скрестила колени. Морри засунул руки глубоко в карманы и прикусил нижнюю губу. Он грустно уставился в мутную зеленую воду.

— Ты заметил, что она сделала? — спросил он хриплым голосом.

— У нее хорошие ноги, — ответил я жалобно. — Кверху они красиво утолщаются.

Нас обоих пробрала дрожь, и мы замолчали. Девочка скрестила лодыжки и вполголоса сказала что-то своей подруге. Они рассмеялись. Я вообразил себе гораздо больше, чем мне было видно: мышцы бедер, переходящие в крепкие, упругие ягодицы, и пах — темный, мягкий, ненасытный, как рот негра.

Они обе неожиданно поднялись и ушли — словно птички, что вдруг вспорхнули и исчезли. По поверхности озера медленно плыли жухлые листья. Я грустил, как жених, покинутый своей невестой.

По окончании первого семестра мистер Снуд объявил, что две картины Артура Джалла получили одобрение муниципальных властей и будут экспонированы на ежегодной выставке работ местных художников. Собственная картина мистера Снуда под назва-

нием «Молодая женщина» была приобретена каким-то коллекционером. Что же касается его юных питомцев, мистер Снуд хотел бы особо выделить Морриса Шпицера, хорошо научившегося соблюдать пропорции, без которых не может быть Истинной красоты.

— Теперь вы доросли до того, чтобы изображать человеческое тело, обнаженное человеческое тело, — торжественно провозгласил мистер Снуд. — *Живое человеческое тело!* — добавил он негромко и впечатляюще, отведя при этом глаза, потому что мы все на него уставились.

Мы с Морри обменялись смущенными взглядами. Мистер Снуд продолжал говорить что-то о том, как мы должны ценить доверие, оказываемое нам Бетнал-Гринским мужским институтом, отбросить все грязные мысли и подойти к обнаженной натуре с должным пиететом; но дальше я уже почти не слушал. В моем воображении возник ослепляющий образ округлой и обнаженной Риты Шомберг на возвышении для натурщиц, и это вызвало физическую реакцию, повергнувшую меня в сильное смущение. В те дни я почти постоянно находился в возбужденном состоянии, и все на свете — стихотворение, отражение уличного фонаря на мокрой мостовой, неожиданная новость, звук саксофона, даже вид тележки торговца фруктами — все на свете могло неожиданно вызвать у меня невыносимую эрекцию.

В первый день второго семестра мы с Морри явились на занятие задолго до звонка, но оказалось, что мы уже не первые. В классе толпилось человек шестьдесят всех возрастов. Я признал некоторых членов клуба кролиководов и нескольких пожилых портных с курсов английского языка для иностранцев. Когда началось занятие, мистер Снуд роздал нам листы плотной бумаги и карандаши, и каждый постарался занять место поближе к возвышению. В одном из последних рядов сидел директор, на лице у него было отрешенно-надзирательское выражение. Мистер Снуд подошел к нему, и они о чем-то зашеп-

тались, и казалось, что этот разговор никогда не кончится. Мы почувствовали, что что-то не так. Где натурщица? Она могла находиться разве что в крошечной боковушке, в которой учитель просматривал наши работы; оттуда она должна была вот-вот появиться во всем своем блеске и великолепии.

Мистер Снуд подошел к двери, приоткрыл ее, сунул туда голову и сказал:

— Если вы готовы, то мы готовы.

Мы затаили дыхание. Из комнатухи появилась человеческая фигура, закутанная в купальный халат; она медленно и торжественно прошеествовала в студию. Все тяжело задыхалось, а потом разом издали громкий стон. Я до сих пор помню, какой это был шок: перед нами предстала не женщина, а всем известный женский парикмахер Арнольд из парикмахерской на Бетнал-Грин-роуд — человек неопределенного пола, ходивший семенящей походкой, носивший на запястьях браслеты и одевавшийся в тесные, облегающие брюки.

Арнольд грациозно кивнул нам и без тени смущения разделся. Его половые органы дрябло свисали под волосатым животом. Наверно, даже увидев перед собой раздетую женщину, мы бы смутились меньше. Арнольд казался каким-то особенно голым. Такое некрасивое тело ни за что не следовало бы выставлять напоказ. Один за другим люди стали выскальзывать из класса. Директор шумно откашлялся и тоже ушел. Мистер Мискин стал трудиться над картиной, которую он еще раньше начал. Я нарисовал Арнольда, придав ему могучие формы чемпиона в тяжелом весе, этим как бы пытаясь скрасить постигшее меня разочарование.

Именно после этого мы с Морри решили завести себе свою собственную студию. Но где? Морри спал в одной комнате со своей пятнадцатилетней сестрой и незамужней теткой. А у меня дома даже за уголок кухонного стола нужно было сражаться. Свободное место было величайшей роскошью. Под лавкой Морри находился захламленный подвал, слишком

сырой, чтобы там можно было жить, и куда менее романтичный, чем мансарда бедного художника, но это было хотя бы что-то, и в одно воскресное утро мы принялись приводить этот подвал в порядок.

В те дни никто не выбрасывал ничего такого, что можно было бы как-то починить, съесть или выменять. Подвал был настоящим складом подобного хлама. Там валялись болотные сапоги с голенищами раструбом, вонючие матрасы, пустые бутылки, набивочный материал, ковры, битое стекло, расколотые унитазы и всякая рухлядь. На роскошной кожаной софе выросла плесень, и, когда мы отодвинули софу в сторону, под ней обнаружиласьдохлая кошка, оскалившая пожелтевшие зубы в гримасе ужаса: должно быть, она пролежала там уже Бог знает сколько времени. За целый день, до темноты, мы успели расчистить лишь пространство площадью не более десяти квадратных футов. Сквозь заделанное решеткой отверстие в тротуаре, служившее окном, в подвал проникала нищенская порция света, но на лучшее освещение нам нечего было надеяться. Однако все же отсюда мы могли хоть как-то стартовать на пути к славе: лиха беда — начало. Мы были готовы действовать.

Здесь я должен отвлечься и рассказать кое-что о Морриной тетке. Это была красивая, острая на язык женщина двадцати восьми лет. Когда-то у нее был бурный роман с человеком, работавшим в мастерской химчистки на Брик-Лейн-род. Потом он вдруг исчез, и оказалось, что у него в Польше жена. Соседи считали Моррину тетку опозоренной, и максимум, на что она могла бы рассчитывать, — это разве что на брак с каким-нибудь пожилым вдовцом. Ходили грязные слухи, что отец Морри разрешил ей жить у себя потому, что она гулящая, и она ходила по улицам с выражением холодной, вызывающей ярости, словно хотела вызвать кого-нибудь на то, чтобы распустить язык и высказаться вслух, и тогда бы уж она ему показала, где раки зимуют, кто бы ни был этот

сплетник—мужчина или женщина. Морри своей тетки ужасно боялся. Что бы он ни делал, она сердилась. Пока он спал, она обшаривала его карманы и приходила в еще большую ярость оттого, что не могла обнаружить ничего предосудительного — разве что пачку сигарет, или денежную мелочь, или кусочки мяса, которые Морри забыл выбросить. Он страшно боялся, что тетка неожиданно заглянет в подвал и настигнет нас там голыми, потому что, конечно, мы собирались позировать друг другу.

Но и это нас не остановило. Сперва все шло как нельзя лучше. Мы купили угольные карандаши и бумагу и, торжественно открыв свою мастерскую в одно серое воскресное утро, приготовились вписать в книгу нашей жизни новую главу. Приближалась зима. Ноябрьское небо нависло над городом тяжелой железной ставней. Я вошел в подвал, дрожа от холода и от возбуждения; Морри на цыпочках ходил по подвалу, ставя вещи на свои места.

— Шшш! — предупредил он. — Все еще спят!

Он заранее принес из кухни пару стульев и зажег старую газовую плиту, которая теперь, казалось, распространяла приятное тепло. Мы радостно улыбнулись друг другу, и Морри, раздевшись, опустился на одно колено и принял позу греческого атлета.

Никогда бы я не подумал, что в подвале будет так холодно. Газовая плита давала лишь временную иллюзию тепла. После того, как Морри простоял в позе атлета минут двадцать, у него зуб на зуб не попадал: он вскочил и, чтобы согреться, стал прыгать и хлопать себя руками по бокам. Я отнюдь не с нетерпением ждал своей очереди. Но она настала, и к тому времени мы уже были несколько раздражены. Я сел на краешек стула, опустив подбородок на сжатый кулак, и старался не касаться подошвами ледяного бетонного пола.

— Кого это ты изображаешь? — спросил Морри, оглядывая меня со всех сторон.

— А на кого я похож, по-твоему? На Иисуса Христа?

— Ты похож на человека, которого собираются повесить.

— Если бы ты разбирался в классической скульптуре, — ехидно сказал я, — ты должен был бы понять, что это роденовский «Мыслитель».

Морри расхохотался, и я в ярости кинулся на него: мы сцепились и принялись тужить друг друга, как сумасшедшие.

На шум появился отец Морри: он был небрит, одет в шлепанцы, халат и ночной колпак. Он в изумлении уставился на нас.

— *Сыне! сыне!* — сказал он укоризненно. — Что это ты дерешься в подвале, точно пьяный гой!

Недели две мы с Морри не встречались. В Европе было неспокойно. Люди бежали из одних стран в другие, и на ничьей земле между Германией и Польшей пограничники отфутболивали лишенных гражданства евреев то туда, то сюда. Вечер за вечером я дрался с фашистами из отрядов Мосли, а Морри, отвергавший насилие, коротал одиночество в залах кинотеатров. Как-то я встретился с ним на улице. Он держал в руке сделанный из газетного листа кулек с жареным картофелем и глазел на женские ножки. Вид у него был такой, словно он как-то ухитрился потерять самого себя и уже отчаялся найти.

— Эй, Морри! — позвал я. — В воскресенье я приду к тебе сделать пару набросков.

Он повернулся ко мне и заморгал.

— Хорошо, я буду тебя ждать, — сказал он смущенно. — Идешь на митинг?

— Да. Хочешь пойти со мной?

Он посмотрел на меня пристальным, плохо понимающим взглядом и снова заморгал: это появилось у него оттого, что он чересчур много времени проводил в кинотеатре «Павильон», сидя в дешевом первом ряду, прямо перед экраном. Я побежал на свою очередную стычку с политическими противниками.

В воскресенье погода улучшилась, проглянуло яркое зимнее солнце, и я подумал, что нет смысла про-

водить такое отличное утро в темном, затхлом подвале. Когда я наконец пришел к Морри, у него уже все встали. Слышно было, как наверху отец Морри скребет и чистит пропитанную кровью колоду, на которой он разделявал свою живность. Стоя в чем мать родила в полосах света, проникавших сквозь зарешеченное окно подвала, я подумал о холодном солнце на польской границе. На картине Мискина черный раввин обращал свой затравленный взор к Богу. О, как прекрасно быть Лениным — одним движением пальца руководить революцией! Или Буденным, который отдает своей Красной кавалерии отрывистую боевую команду и скачет во главе своих конников по сибирской степи. Blut faschisti!

— Морри, ты бы пошел сражаться против Гитлера? — спросил я. — Даже если бы это была капиталистическая война?

Морри вытянул карандаш и на глазок измерил мои физические пропорции.

— Я пацифист, — ответил он, — ты же знаешь.

Он быстро внес в свой набросок несколько поправок и показал мне, что получилось. Я выглядел очень мужественно. Бедра, плечи и шея словно напряглись, готовые преодолеть незримое препятствие, и даже половой член выглядел устрашающе, словно голова змеи.

— Хорошо! — сказал я.

Мой комплимент обрадовал Морри и смутил.

— Ты правда так думаешь? Да?

Он побежал прикрепить рисунок у себя в спальне.

Я стоял у окна и курил сигарету, когда отворилась дверь и появилась тетка Морри. Несколько мгновений мы оторопело пялились друг на друга, а потом она повернулась и сказала:

— О, это вы! Простите!

Я потянулся за своей одеждой, а она оценила меня прямым, суровым и в то же время добрым взглядом. Грудь ее вздымалась. Кожа у меня горела, и я согнулся в три погибели, чтобы скрыть постыдную

эрекцию, но тетка ни на мгновение не оторвала от меня взгляда. В этот момент я понял, что все сплетни о ней — сплошные враки. В ней была печаль еврейских местечек, отмеченных древними проклятиями, и она боялась меня. Это было, как если бы мне уже стукнуло двадцать один и я был властелином полумира. Я медленно поднялся и начал одеваться, и я продолжал одеваться, когда она ушла и тихо закрыла за собой дверь.

Примерно тогда со мной что-то случилось. Неожиданно я написал стихотворение. Слова как-то сами пришли ко мне в голову на работе, во время обеденного перерыва, и я тут же их записал на скомканном листке бумаги, который обнаружил у себя в кармане: «Прощай, прощай. Царица ночи, владычица моих вселенских грез...» Странное это было стихотворение, и я сам не мог взять в толк, что оно означает. Но хотя я понятия не имел, каким образом снизошло на меня вдохновение, я в возвышенном восторге понял, что это — послание из внутреннего пространства. Теперь все будет хорошо.

## Еврей в Англии

*(Послесловие, написанное через шесть лет)*

Сейчас, когда я пишу эти строки, передо мной лежит школьная фотография: я — четвертый мальчик справа, радостно гляжу на мир, который пока еще не слышал о Гитлере, хотя его тень уже готова опуститься на всех нас. Выражение моего лица — невинное, любознательное и жизнерадостное. Я уверен в светлом будущем и не могу себе представить, что когда-нибудь мне придется состариться.

Тогда я жил неподалеку от школы, на улице, застроенной небольшими двухэтажными домами: в некоторых из них были подвалы, расположенные ниже уровня тротуара, и там жили целые семьи — день и ночь при искусственном свете. Наша квартира помещалась в унылом кирпичном доме, самом высоком на этой улице — столь убогом, что, вспоминая прошлое, я едва могу поверить, что можно было жить так убого. Но все вокруг жили примерно так же, как мы: повсюду были кишевшие людьми трущобы, и нам вовсе не было труднее, чем нашим соседям. В основном это были эмигранты из Восточной Европы; даже если бы они могли себе позволить лучшее жилище, я сомневаюсь, что они сочли бы целесообразным платить за это лишние деньги.

Сплошь и рядом в квартале что-нибудь происходило: то вспыхивали драки, то появлялся бродячий певец, или мелочные торговцы, отпуская едкие остро-ты, предлагали неслыханные скидки за картонные ящики. Мы были свидетелями таких случаев насилия и таких бедствий, которые в каком-нибудь добропорядочном буржуазном пригороде никогда бы не всплеснулись наружу из отгороженных друг от друга коттеджей. У нас же — они заражали всех страхом.

Жизнь менялась в зависимости от времени дня и года. Летом, когда было жарко, мы становились медлительнее и злее, часто нежились на солнце у подъездов своих домов, словно на средиземноморских пляжах. Зимой же — замыкались у себя в квартирах и расталкивали друг друга в борьбе за теплое местечко у камина. С наступлением сумерек у людей преобразались лица и голоса, всех захлестывало одиночество. Постепенное угасание дневного света настраивало всех нас — даже детей — на задумчивый, философский лад; но когда вспыхивали уличные фонари, на улицу высыпали любители вечерних удовольствий, уверенные, что они заслужили право отдохнуть и развлечься. Из рыбных и мясных ресторанчиков слышалось шипение пузырившегося на сковородках жира, сквозь открытые двери баров неслись на улицу звуки рояля, молодые парни с набриолиненными волосами и в облегающих костюмах с похотливым нахальством глазели на округлые ягодицы и пухлые ляжки девушек, дефилирующих на высоких каблуках, и вокруг кинотеатров толкались толпы людей, усеивая тротуары скорлупой от каштанов.

У меня есть привычка вспоминать прошлое во всей его совокупности, не расчленяя. Может быть, из-за обобщающего склада моего ума, но, наверное, дело все-таки в том, что с детства все мы были еще членами племенной общины, а наш квартал, в сущности, оставался деревней, которая по своему духу была очень далека от космополитической атмосферы огромного города Лондона.

Мы точно так же, как восточноевропейские евреи, отмечали шабат и еврейские праздники, ели ту же самую пищу, пели те же самые традиционные песни в том же самом минорном ключе и смешивали друг друга теми же самыми анекдотами. Мы были в Лондоне чем-то вроде колонии иностранцев, как итальянцы в Сэффрон-Хилле или китайцы в Пеннифилдсе, но, в отличие от них, по-моему, мы с детства ощущали себя англичанами. Более того, мы считали себя

англичанами высшего сорта, потому что мы были не только англичане, но вдобавок еще и евреи, и, следовательно, мы были умнее, чище, изобретательнее и трезвее — мы были не столько другой расой, сколько другим классом, и любое проявление враждебности к себе воспринимали как следствие зависти к нам, обладающим такими великолепными свойствами.

Впервые я всерьез столкнулся с антисемитизмом, когда мне было четырнадцать лет: тогда мне удалось добиться стипендии для продолжения своего образования в профессиональном училище. Кандидатам, выдержавшим испытания, было разрешено назвать — в порядке предпочтения — несколько профессий, которым мы хотели бы выучиться. Я поставил на первое место литографию, на второе — обслуживание званых обедов и свадеб, а на третье — электротехнику. В училище литографии меня не приняли без всякого объяснения после того, как я прошел собеседование, в ходе которого вежливо и правильно ответил на несколько довольно простых общеобразовательных вопросов, а кроме того написал короткое сочинение и довольно прилично смастерил деревянную вешалку для полотенец, чтобы доказать, что я умею работать руками. Единственный вопрос, на который я явно не сумел толком ответить, к удовлетворению спрашивающего, касался моей религии. Остальные два училища даже не удосужились пригласить меня на собеседование. Вместо этого Совет Лондонского графства предложил мне место в Техническом колледже кожевенного производства, который на поверку оказался просто сапожным училищем около Смитфилдского рынка. В этом училище я был единственным учащимся-евреем. Издевательства, которым я подвергался в Техническом колледже, казались мне частным случаем, подобно запаху требухи, пронизывавшему весь этот колледж.

Значит, насколько я могу припомнить, проблема моей еврейской сущности не тревожила меня до тех пор, пока не начались отроческие годы. Это было в

начале тридцатых годов — то есть тогда же, когда еврейский вопрос стал камнем преткновения и для многих молодых евреев Германии. Тогда я был членом молодежной коммунистической организации, и представление о политическом освобождении носило у меня довольно апокалиптический характер. Как-то раз вместе с другим молодым коммунистом, крючконосым парнем по имени Иззи Бирнбаум, мы забрели на «вражескую территорию» — в Хокстон, где евреев не очень-то жаловали. Но нас интересовали в Хокстоне не политические разногласия, а девушки. Однако Иззи имел глупость облачиться в очень броский, яркий пуловер, какие носят джазисты, а у меня волосы блестели от маргарина, с помощью которого я пытался пригласить непослушные вихры; мы заметно выделялись среди местных и привлекли к себе внимание отнюдь не девушек, но каких-то хулиганов, разлегшихся на тротуаре, и они посоветовали нам убираться обратно в Палестину. Мне тогда уже не впервые давали такой совет. Обычно я огрызался: «Сам убирайся в Палестину, мудак!», или «Это — моя страна!», или «Я, мать твою, такой же англичанин, как и ты!» Но в тот раз почему-то я не мог сказать всего этого достаточно убедительно, и хокстонская шпана всем своим видом показывала, что руганью дело не кончится. Иззи Бирнбаум пробормотал что-то насчет того, что его отец сражался за Британию, но я не мог привести в свою защиту даже такое — весьма, впрочем, сомнительное — оправдание. После небольшой стычки мы ретировались из Хокстона в порванной одежде и с подорванным самоуважением. Мы поняли, что для нас началось беспокойное время.

А потом появился Мосли со своими фашистами, и в Ист-Энде произошла пугающая перемена. Курносые парни, с которыми мы обменивались довольно безобидной руганью, неожиданно облачились в высокие сапоги и черные мундиры с портупьями и стали

выглядеть не забияками-мальчишками; они маршировали по улицам нашего района и орали: «Долой жидов! Долой жидов!» И нам было совсем не до смеха, когда мы глядели, как во главе этих ретивых юнцов вышагивают дюжие молодчики из богатых пригородов, одетые в дорогие, сшитые на заказ костюмы. Черный цвет был отнюдь не единственным цветом полувоенных объединений. Мирная организация, члены которой ходили в зеленых рубашках и учились ориентироваться в лесу, вдруг постановила исключить всех евреев и сделалась яростно антисемитской. Члены Движения за общественное доверие, также одевавшиеся в зеленое, начали заниматься строевой подготовкой с деревянными ружьями, готовясь ко всеобщему вооруженному восстанию против международных еврейских финансистов с Уайтчепел-род. Молодые коммунисты строем ходили на свои митинги, одетые в красное; молодые сионисты красовались в голубых униформах; евреи-ветераны выходили на демонстрации, надев все свои боевые награды. Торжественные приезды окруженного телохранителями сэра Освальда Мосли в свою резиденцию на Роман-род в Бетнал-Грине выглядели смехотворно и в то же время зловеще. Когда во время его пышно обставленных появлений мы жались к краю толпы с колющим ощущением опасности, он глядел на нас, точно комический денди, играющий Муссолини, и в глазах у него было выражение застывшей ярости: казалось, обтрепанные жители трущоб внушали ему онанистическую иллюзию, что он — уже победитель. Слушая, как он выступает с трибуны и произносит слова так, как их произносят англичане из высших классов, мы ощущали не столько страх, сколько презрение. Мы не могли ненавидеть его так, как ненавидели его башибузуков, потому что не могли же мы воспринимать всерьез человека с таким произношением. Но мы безошибочно чувствовали, что от Мосли исходило истерическое зло. Оно проникало в нашу еврейскую плоть и кровь. Во всем этом

было что-то неизбежное; казалось, всю свою жизнь я ждал, что такое должно случиться.

Все мы, дети восточноевропейских евреев, с детства росли, твердо зная, что мы — преследуемые: с материнским молоком мы впитывали рассказы о погромах. Когда взрослые за столом обменивались воспоминаниями о прошлом, они неизменно ругали царскую полицию, правительственных чиновников и православных попов. Антисемитизм был для нас чем-то вроде нежелательного наследия — он тяжелым грузом загромождал память. И вот теперь мы столкнулись с ним лицом к лицу, он поднял голову у нас на глазах, и если нам было страшно — как, по крайней мере, было страшно мне, — то прежде всего потому, что раньше мы были убеждены: в Англии — стране свободы, справедливости и терпимости — такого быть не может. Я и сам не понимаю, каким образом я ухитрился сочетать в себе страстную веру в коммунизм и глубокое убеждение в том, что британский образ жизни — лучший в мире, однако так оно и было. Фашисты из отрядов Мосли смертельно оскорбляли меня тем, что отвергали мой юношеский патриотизм. Они говорили мне, что я — чужак, еврей, незванный гость в стране, где мое присутствие нежелательно. Если такое говорили только фашисты, на это можно было бы не обращать внимания. Но по всей Европе люди обсуждали «еврейский вопрос» или искали «средство» для решения «еврейской проблемы». Казалось, за спиной каждого горластого антисемитского вожака стояла дюжина молчаливых рядовых: это были разумные, культурные люди, они вежливо осуждали «герра Гитлера», но, как иногда можно было случайно услышать, сходились друг с другом на том, что евреи — со всеми их банкротствами, потогонной системой, безвкусными манерами и беспринципностью в ведении дел, — «это, в сущности, худшие враги человечества».

Когда мне было лет шестнадцать-семнадцать и антисемитизм был в самом разгаре, меня ужасно удру-

чала собственная внешность: мне казалось, что нос у меня слишком длинный, губы слишком толстые, а походка неизящная, словно у меня плоскостопие. Я старался все время напоминать себе, что, разговаривая, не следует размахивать руками, но, как только что-нибудь меня возбуждало, мои руки, словно бы сами, выскакивали из карманов и начинали выделять жесты, не подобающие англичанину. Если я усилием воли заставлял себя держать свои руки в неподвижности, язык отказывался мне повиноваться, и я спотыкался на простейших фразах. Во мне гнездились тайное убеждение, что, презирая меня, окружающие совершенно правы. Разумеется, с первого взгляда всем было ясно, что я одержим сексом, часто лгу, дурно пахну, не могу удержаться ни на какой работе и боюсь драк — боюсь, что меня побьют.

Это презрение к себе сделало меня нетерпимым к недостаткам других евреев; я все чаще и чаще начал это за собой замечать. Каждый раз, когда женщина, говорившая с иностранным акцентом, устраивала скандал в автобусе, или двое мужчин, что-то не поделив, ругались друг с другом на идиш, или эстрадный комик вызывал смех публики, нахлобучивая на уши шляпу и втягивая голову в плечи, мне становилось мучительно стыдно. Я начал совсем по-другому глядеть на то, что меня окружало, несмотря на то, что в своем квартале я жил с самого рождения. Теперь иностранные фамилии на вывесках магазинов казались мне смешными и вызывающими; надпись «кошер» и буквы еврейского алфавита выглядели для меня раздражающей рекламой отчужденности; евреи на рынке чересчур торговались; мухи, роившиеся над неприкрытым мясом и бакалейными товарами, были доказательством нашей отсталости и убожества нашей жизни. Точно так же раздражали меня и хасиды, расхаживавшие по улицам в нелепых чужеземных нарядах и даже не понимавшие, какими чужаками они выглядят, или торговки селедкой, лезшие грязными, пухлыми пальцами в открытые бочки с рыбой.

Я стеснялся даже собственного имени: некоторое время я называл себя «Лен Х.Ли» — это звучало и красиво и по-англосаксонски. Неизбежно настал момент, когда это чувство неловкости из-за своего происхождения привело к тому, что я как-то отрекся от того, что я еврей: но эта измена собственному народу показалась мне самому настолько унижительной, что больше ничего подобного никогда со мной не случилось. В то же время я не упускал случая подраться с чернорубашечниками или затеять спор с позиций яростного еврейского шовиниста. Можно было испытывать смущение или становиться на ту или иную сторону, но невозможно было сохранять нейтралитет. Мне исполнилось семнадцать лет, и настроение у меня было самое бунтарское. Вскоре после этого я примкнул к сионистам — причем к самым экстремистским, воинственным сионистам, которым впоследствии предстояло стать ядром Эцеля и «банды Штерна».

Многое изменилось с тех невинных дней, когда я считал самоочевидным, что англичанин — это всякий человек, родившийся в Англии. До десяти лет я ни разу не видел загородной тропинки, поля или моря. Прекрасная земля Англии, утопающая в зелени, была для меня прекраснодушным лицемерием из лживой поэмы, которую мы в школе нехотя зубрили наизусть. А действительностью для меня было гетто лондонского Ист-Энда — единственная Англия, которую я знал, единственное место в широком мире, которое я мог на самом деле считать своей родиной. И если я вообще хоть когда-нибудь об этом думал, то мне было совершенно понятно: кто я еще такой, как не англичанин, и кто я еще такой, как не еврей, и почему одно должно быть несовместимо с другим? Да, конечно, по соседству с нами жило враждебное английское племя, и оно отталкивало нас, не пускало нас то туда, то сюда, доставляло нам неприятности. Но в своем районе, если не говорить о нищете, мы чувствовали себя спокойно и в полной безопасности.

Другие евреи, жившие отщепенцами среди чужих народов в Восточной Европе, не раз спрашивали и спрашивают меня, не приходило ли мне в голову поинтересоваться, как вписывались мои предки в тот или иной период истории, который я проходил в школе. На это я могу ответить: нет, мне не приходило в голову этим поинтересоваться. Мы мало что знали о Кануте или Альфреде помимо того, что было о них написано в учебнике; да и, в конце концов, какое отношение имела история к мечтам и разочарованиям лондонского мальчика?

Но когда мне стукнуло четырнадцать лет, все изменилось. Еще вчера я был беззаботным школьником в коротких штанишках, а сегодня стал взрослым, только маленького роста, вынужденным зарабатывать себе на хлеб. Я вступал в контакт, а иногда и в столкновение со сложно организованным обществом, в котором люди конкурировали друг с другом ради того, чтобы найти работу, выдвинуться и выбить для себя лучшие возможности в годы, когда все это было очень нелегко. Именно тогда я начал понимать, что одни люди — в большей степени англичане, чем другие. Прежде всего, этот преподанный мне урок носил классовый характер. У мальчика из рабочей среды, имеющего скудное образование, выбор профессий был очень ограничен. Само собой, в тридцатые годы все еще казалось немыслимым, чтобы выходец из Бетнал-Грина сделал попытку стать управляющим банка (или хотя бы банковским кассиром), журналистом, санитарным инспектором, кадровым офицером — даже если у него было самое изысканное, правильное английское произношение. Даже двенадцать лет спустя, когда во время войны я был произведен в майоры, это показалось мне какой-то необыкновенно счастливой случайностью.

Вскоре я обнаружил перед собою еще одно препятствие. Будучи достаточно смышленным и умея красиво писать, я надеялся разорвать порочный круг ремесел, ограничивающий возможности такого

еврейского мальчика, как я, и стать не портным, не столяром, не меховщиком, не парикмахером, а кем-нибудь другим. Я писал пламенные заявления в страховые компании, в фирмы, занимающиеся грузовыми перевозками, в коммерческие общества и в другие почтенные учреждения, доказывая, что я достаточно компетентен, чтобы занять должность посыльного. Я не получил ни одного ответа — и тогда я кинулся записываться на приемы для личного собеседования. Некоторые чиновники с достаточной откровенностью говорили мне, что не в обычаях фирмы брать себе в штат людей иудейского вероисповедания, другие предпочитали выдумывать благовидные предложения. Тем временем я поднаторел в нескольких профессиях. Я не хуже других умел варить клей, мести пол, утюжить одежду и носить мешок с мануфактурой с фабрики к оптовым торговцам; я умел прибивать к доске меховой воротник и развешивать сахар по фунтовым пакетам. Я редко удерживался на какой-нибудь работе достаточно долго, чтобы преуспеть в своем деле. Уйдя с одной работы и еще не найдя другую, я неделями, а то и месяцами оставался безработным. Когда такое случалось, я завидовал своим многочисленным младшим братьям, которые все еще учились в школе и потому могли с чистой совестью есть ту скудную пищу, которая была в доме, и не терзаться угнетающим ощущением вины, которая гнала меня слоняться по улицам и курить чужие чинарики, чтобы заглушить голод.

Тем временем в газетах постоянно появлялась рубрика «Требуется». Мы, безработные юнцы, толкались в публичной библиотеке вокруг номеров газеты «Дейли Телеграф» и мечтали использовать чудесные возможности, открывающиеся для коммивояжеров, или научиться зарабатывать шесть фунтов в неделю в свободное от работы время, или поступить на военную службу, что полезно для здоровья и интересно и даст возможность бесплатно путешествовать по миру, или стать властелином своей судьбы, пройдя ко-

роткий курс пельманизма. Одно объявление приглашало читателя поступить на гражданскую службу Его Величества в качестве «служащего третьей категории» или что-то в этом роде — для этого нужно было окончить заочные курсы, которые гарантировали успешную сдачу необходимых квалификационных экзаменов (в случае провала курсант мог получить назад свои деньги). У меня в то время был всего шиллинг-другой в кармане, и я обратился непосредственно в экзаменационную комиссию с просьбой прислать мне условия поступления на службу, надеясь подготовиться к экзаменам в бесплатной библиотеке. Тогда-то я сделал грустное открытие, что не являюсь в достаточной мере англичанином даже для того, чтобы мне в государственном учреждении опорожнять корзины для бумаг. Я понял, что человек, у которого родители имели несчастье родиться за пределами Англии, не сможет стать ни почтовым служащим, ни полицейским, ни морским офицером, ни акцизным или таможенным чиновником, ни инспектором палаты мер и весов. Собственно говоря, мы не очень-то нужны в этой стране, и нам довольно скоро стало ясно — почему.

Нетрудно понять, какой отпечаток накладывало это на еврейского мальчика, наделенного воображением. Подобно тому, как американский негр иной раз считает свою черную кожу признаком уродства, так и еврей смотрит на свое еврейство как на бремя, наложенное на него злобными врагами во имя расы, национальности или патриотизма. В этом была одна из причин того, что в двадцатом веке среди коммунистов было так много евреев. Коммунизм заменил понятие расы понятием класса, а понятие национальности — понятием интернационализма; и он подверг осмеянию патриотизм как нечто лицемерное и лживое. Казалось, коммунизм предложил целительное средство от бремени еврейства. Но вам все равно говорили, что вы — чужой, что вы непохожи на других и потому они вас не приемлют; и у вас был выбор на-

чать гордиться своей непохожестью и восстать против гнета и оскорблений, которые издавна были судьбой евреев. По крайней мере, так я рассуждал, сталкиваясь в тридцатые годы с воинствующим расизмом. Евреев отделили от других людей для того, чтобы их распять. Европа готовила нам гибель. Голос Гитлера и голоса его приверженцев из других стран звучали у меня в ушах, как лай гончих в ушах преследуемого оленя, как трубный звук Дня Страшного Суда. И вот я отрекся от коммунизма и ударился в сионизм — и ждал самого худшего.

Но мой жизненный опыт был пока необыкновенно ограничен, и его не расширяло растущее во мне чувство отчужденности. Люди, которых я лучше всего понимал, были евреи из Ист-Энда, т.е. те, в среде которых я жил с колыбели, я мало что знал о других, тех, с кем был связан общей судьбой. Но в Лондон все больше прибывало людей, сорванных с насиженных мест: мужчин, женщин и детей с картонными или деревянными чемоданами; некоторые из них еще сохраняли признаки недавнего благоденствия; но все они были подавленные, жалкие, никому не нужные. Впервые я столкнулся с одним из таких беженцев в Париже, куда я поехал по дешевому воскресному билету — это было мое первое путешествие за границу. Когда я проходил по бульвару Монпарнас мимо кафе «Купол», меня остановил невысокий обтрепанный мужчина лет двадцати с чем-то. Был вечер, и я грустно думал о том, как бы мне ухитриться поужинать, потому что после того, как утром я выпил кофе с булочками, я весь день ничего не ел. Я не знал французского — и не мог понять, чего этот человек от меня хочет. Он поколебался, улыбнулся, а потом перешел на идиш — и предложил мне купить у него часы. Я сейчас не помню, ни как его звали, ни его лица — помню только, что одна дужка очков у него была сломана и привязана ниткой да еще что от него исходил запах едкого дешевого табака. Ему, наверно, было очень одиноко, и он

все продолжал и продолжал говорить, даже когда стало ясно, что никакой купли-продажи между нами не состоится. Пару раз он кидался за прохожим, прося меня не уходить, и через минуту-другую возвращался несолоно хлебавши.

Эта случайная встреча была для меня не просто неприятной. По улицам зимнего Парижа бродили многие сотни других беженцев. Они стояли в очередях за миской супа, собирались кучками в поисках тепла в дешевых бистро, делились друг с другом своими горестями. А тысячи других в Германии тщетно пытались добыть паспорта, метались от границы к границе, ползли через чащи колючей проволоки навстречу дулам винтовок бдительных пограничников. Тогда еще никто не мог предвидеть, что за добровольным переселением отдельных людей, пытающихся выжить, последует насильственное переселение миллионов, обреченных умереть. Тогда в Париже мне казалось, что такая бездомность и неприкаянность — это последний возможный предел. За несколько месяцев до того я, казалось, дошел до ручки: питался благотворительным супом и спал в ночлежках. Но не порвалась еще пуповина, соединявшая меня с соплеменниками и с семьей: я всегда знал, что найду друга или новую работу, и всё уладится. Однако если бы нацисты завоевали Британию, где стал бы я искать участия, хлеба, прощения?

Вскоре после поездки в Париж обстоятельства мои резко улучшились. Я нашел жилье над рестораном на Финчли-род. Получив постоянную работу у меховщика, имея нескольких друзей и живя среди себе подобных, я засел за свои первые литературные опыты и не сомневался, что меня ждет скорый и бесспорный успех. Некоторые из нас погрузились в изучение оккультного, осваивали «самоуглубленное размышление», увлеклись астрологией и даже гаданием на магическом кристалле, перемежаемом чтением облегченного перевода еврейской каббалы и сочинений разных мистиков. Это привело к отстранению даже

от исключительных событий: можно было смотреть на современный кризис в такой перспективе, в которой возвышение и падение цивилизации было всего лишь мимолетным событием в непрерывном процессе Творения. Мир неуклонно двигался к войне, а я угрюмо составлял его гороскоп. В возвышенном состоянии духа я сидел в ресторане под своей квартирой и заносил свои впечатления на бумагу, преимущественно наблюдая издали за беженцами-евреями, которые играли друг с другом в шахматы, просматривали газеты, пришедшие с континента, и беседовали между собой по-немецки. Поначалу все они казались на одно лицо: их общая беда наложила на них отпечаток, стерла их индивидуальность и придала всем общие черты. Меня их положение мало трогало, в ту пору жизни я стал довольно надменным, и мое отношение к ним было сдержанным и, как мне казалось, типично английским. Как и многие англичане, я принимал непривычные манеры беженцев за эксцентричность, а их склонность произносить слова так, как они пишутся, — они редко понимали, насколько это комично звучит, — я считал свидетельством характерного для некоторых европейцев отсутствия чувства юмора. Даже великий Фрейд не смог в те дни избежать жалостливого пренебрежения. Однажды я услышал, как кто-то назвал его «этот жалкий бедняга», когда Фрейд прошел по Финчли-род, тяжело опираясь о плечо своего сына.

Жизнь в рабочей среде не подготовила меня к тому, чтобы общаться с бежавшими из Европы художниками, писателями и музыкантами, с которыми я теперь часто встречался, а мое восточноевропейское происхождение и воспитание еще больше мешало мне их понимать. В нашем уайтчепелском гетто у нас никогда не возникало никаких сомнений в том, что мы евреи и должны оставаться евреями, но теперь я обнаружил, что мои новые знакомые куда как далеки от своих еврейских корней. Некоторые беженцы вообще ничего общего не имели с еврейством:

это были крещенные евреи, онемеченные чехи, интеллигенты-марксисты, люди из немецкой культурной элиты, и только варварские обобщения нацистских специалистов по расовой философии могли свести их в единую категорию. Они сумели гораздо лучше и быстрее приспособиться к чужеродной для них среде, чем прежнее поколение еврейских иммигрантов из Польши, России и Литвы, которые остались такими, какими были, и ассимилироваться предоставили своим детям. Эти новые пришельцы всю жизнь плыли в общем потоке европейской культуры: у них был европейский стиль жизни, европейские понятия, иногда широкая эрудиция. Им требовался лишь какой-то период времени, чтобы акклиматизироваться. Лет через десять после того, как они уехали из своей страны, они говорили с идеальным местным произношением, и их мало что отличало от урожденных англичан, французов или американцев. Во время войны я был прикомандирован к роте, состоявшей из таких еврейских беженцев. Не было такого языка цивилизованной страны, по которому мы у себя в роте не могли найти высококвалифицированного специалиста. У нас было достаточно преподавателей всех специальностей, чтобы составить штат небольшого университета; мы легко могли бы создать у себя приличный оркестр, могли бы своими силами сделать кинофильм или начать выпускать газету. Как-то из военного министерства пришел приказ номинально сменить фамилии всему составу роты — на случай, если кто-нибудь попадет в плен к немцам. По какой-то странной прихоти наибольшей популярностью пользовались фамилии вождей шотландских кланов — такие, как Мак-Грегор или Мак-Кензи; и после войны очень мало кто, если вообще кто-нибудь, снова захотел вернуть себе свою прежнюю фамилию.

Война принесла с собою неожиданные блага. Она разрушила застывшую социальную структуру и избавила нас от неуверенности и необходимости принимать решения. А меня она также освободила от

моих еврейских комплексов. Я поехал на свою базу, которая была на севере, под Глазго, вместе с новобранцами, собранными из всех районов восточной части Лондона. Когда поезд отошел от Хьюстона, несколько евреев сгруппировались вместе и обменялись сочувственными, понимающими взглядами. В других купе образовались другие национальные группки: местный патриотизм в бедных районах Лондона был очень силен. Парни из Бермондси с опаской поглядывали на уроженцев Шордитча, а выходцы из Хокстона, видя выходцев из Хомертона, смотрели сквозь них, словно рентгенографируя их кости. Двое или трое «высоколобых» вообще избегали каких бы то ни было разговоров, опасаясь, что их изысканное произношение выдаст, из какого они класса.

Еще не успел поезд дойти до Кру, как мы стали смешиваться. Когда поезд останавливался, мы все вместе бежали в буфет за пивом. В Ньюкасле началось сквернословие, и местные девчата взвизгивали от восторга, слушая наши грубые шутки. В Глазго мы прибыли шумной толпой, в которой уже нельзя было никого ни от кого отличить, и мы с презрением поглядывали на солдат военной полиции, возбужденные и готовые начать драку, если какой-нибудь старший сержант начнет задирать нос. Когда нас одели в форму и началась шагистика, мы стали и вовсе одинаковыми, словно все одновременно родились из одного гигантского чрева. Такая анонимность способствовала моему духовному выздоровлению. Армейская жизнь была для меня не тяжела. Впервые за долгое время я нормально ел три раза в день и все-таки чувствовал легкий голод. Я получил первую в своей жизни теплую верхнюю одежду — шинель, мне бесплатно чинили сапоги и стирали белье, и во мне возникло первобытное чувство благополучия. Не будучи хорошим солдатом, я умел смягчать для себя трудности казарменного существования, и у меня не было никаких неприятностей. Мои еврейские невроты совершенно исчезли, когда я научился обра-

щать отдельные антисемитские выкрики против самих же обидчиков с помощью беззаботного, доброго юмора. Дружба в армии возникала совершенно независимо от религии и расы. Моего лучшего друга — голя до мозга костей — я водил на бесплатные обеды, устраиваемые в Глазго местной еврейской секцией Женской добровольческой службы, и там его спокойно принимали под именем рядового Когана. Добрый юмор и цинизм нужно было культивировать, с их помощью можно было получить определенные поблажки и житейские удовольствия: лишнюю увольнительную, кружку бесплатного пива, девушку на ночь. Война была для нас какой-то невоинственной: сражения шли где-то далеко, за тридевять земель. Доходили, правда, до нас слухи о жестокостях, которые творят на континенте нацисты, но сведения об этих жестокостях не часто попадали в газеты, а если и попадали, то мы придавали этому мало значения. Потом нас перевели в Северную Ирландию, где британского солдата все любили, и красивые девушки-пресвитерианки ласково улыбались всем, кроме тех, кто имел глупость признаться, что он католик. Потом начались военные действия, стрельба, бомбежки мирных городов; пала Франция. Но у нас в Ольстере, в приятной глуши, среди чудесных зеленых холмов все эти события отдавались лишь как дальнее эхо: солдаты играли в войну и бурчали, когда начинался дождь. Наша жизнь спокойно протекала в казарме, в кантине и на танцах в деревенском клубе. Я ни о чем не думал и начал писать пессимистические стихи. В Лондоне была напечатана небольшая подборка моих стихов под названием «Новобранцы». Моя фамилия появилась в нескольких антологиях, носивших такие названия, как «Стихи с фронта», «Поэты, одетые в хаки» и тому подобное. Это обеспечило мне какое-то, хоть скромное, но все-таки положение в литературных кружках Белфаста и, возможно, отчасти способствовало тому, что меня впоследствии отобрали в офицерскую школу. Но пока ничего не менялось. В

моих стихах все еще говорилось о сексуальных заботах и о тоске по насилию. А затем грянул Дюнкерк, и все в ужасе проснулись.

Жуткая перспектива, что нацисты могут выиграть войну, заставила меня опять вспомнить о своем еврейском происхождении. У моих друзей-неевреев в случае немецкой оккупации был выбор: сопротивляться — или покориться завоевателям. У нас, евреев, выбора не было: мы знали, что нам суждено умереть. Это ясно подтверждалось всем тем, что гитлеровцы делали в оккупированной Европе. Мы еще не слышали выражения «окончательное решение», и немцы еще проводили опыты с целью довести до совершенства технику массового уничтожения людей. Но о голоде и садистских пытках в Дахау, Бухенвальде и других концлагерях было известно еще в «мирное время». Не нужно было чрезмерно развитого воображения, чтобы представить себе, какая судьба ожидает еврея в руках нацистов теперь, когда убийство разрешено, прославлено и оправдано требованиями войны и патриотизма.

Я стал принимать близко к сердцу страдания европейских евреев, потому что эти неведомые мне мученики приобретали черты членов моей семьи — моей матери, младших сестер, моих братьев; трое моих братьев служили в армии, как я, а четверо еще учились в школе и потому были особенно беззащитны. Странно — и, по-моему, крайне показательно, — что меня не столько беспокоила непосредственная опасность, которой они подвергались в Лондоне во время бомбежек, сколько страшная судьба, которая им грозила бы в случае гипотетического немецкого вторжения. Бомбы, падавшие с неба, не делали различия между жертвами; у всех была равная возможность выжить или погибнуть. Но страшнее всего была хладнокровная селекция, проводимая нацистами во имя их бесчеловечной идеологии. Я больше не чувствовал себя таким же солдатом, как все остальные: я был евреем в военной форме.

Примерно в это время небольшая группа еврейских беженцев, мужчин, женщин и детей, сумела обратиться к побережью Далмации и отчалить на борту старенького суденышка под названием «Струма». Им, видимо, это казалось чудом освобождения. Опять же чудом они сумели не погибнуть в опасном плавании через Средиземное море и достичь берегов Турции, откуда они надеялись посуху добраться до Палестины. Но существовало одно юридическое препятствие. Британские власти отказались выдать беженцам документы на въезд в Палестину на том основании, что квота на въезд еврейских иммигрантов была к тому времени исчерпана. Тогда беженцы обратились к турецким властям с просьбой разрешить им остаться в Турции. Им было отказано и в этом. Они умоляли, чтобы с корабля сняли хотя бы детей, но турецкие власти были неумолимы, и «Струме» было приказано покинуть порт. Куда оставалось плыть отчаявшимся людям? Обратно в захваченную нацистами Европу, где их ждала верная смерть? Британские и турецкие власти «очень сожалели», но «ничего не могли сделать», ибо вынуждены были подчиняться существующим законам и правилам. И «Струма» отчалила. А в открытом море, неподалеку от берега, на судне произошел взрыв, и оно затонуло. Спасся только один человек. Никто не знает, почему произошел взрыв. Одни говорят, что корабль наткнулся в море на мину, другие утверждают, что беглецы предпочли смерть в море пыткам и казни в руках немцев.

Гибель «Струмы» породила отчаяние. Дальше по пути зла идти было некуда. Британские и турецкие чиновники — люди с каменным сердцем, пославшие несчастных беженцев на смерть из-за того, что у них не в порядке документы, — эти чиновники были пособниками Гитлера. Они служили дьяволу, отказывая детям в праве жить, дабы держать в порядке свою бухгалтерию. Несомненно, они попросили указаний у своих начальников. Анкара и Уайт-

холл обменялись шифрованными посланиями. Высокопоставленные бюрократы не желали в разгар войны беспокоиться еще и о каких-то беженцах, которым втемяшилось в голову добраться до Палестины. Прежде, чем бежать от нацистов, им следовало выяснить, есть ли для них место в квоте допускаемых в Палестину. Разве эти люди не знали, что идет война?

Если в жизни человека есть какой-то поворотный пункт, то для меня поворотным пунктом стала история «Струмы». Я понял, что никогда больше я не буду думать о себе как о стопроцентном англичанине и не буду колебаться, отвечая на вопрос, еврей я или нет. В середине XX века любой еврей в Европе был обречен, как будто у него врожденная неизлечимая болезнь. Лишь случайность географического проживания или невероятная удача могли позволить ему выжить. И когда мы выиграли войну, я знал, что для меня война была еще и шесть миллионов раз проиграна. У этого чувства утраты нет великодушия и нет даже воображения. Прошло какое-то время, пока я понял, что массовое убийство мирных людей во время бомбежек не менее ужасно, чем убийство людей, специально отобранных нацистами, и что оба вида массового убийства являются результатом все увеличивающейся склонности части людей смотреть на других людей как на абстракции. Но это уже выходит за пределы моей темы. Я же здесь писал о моем еврейском национальном образовании, и последним уроком этого образования был *хурбан* — Катастрофа.

עיריית חיפה/מנהל ח.ת.ר.

אגף לתרבות השכלה ואמנות, חמ"ל לספריות

הספרייה הצבורית ע"ש ש. פזנר

מס'

10053/1

## **РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ КНИГИ:**

- 1–2. Леон Юрис. ЭКСОДУС
3. Д-р А.И. Кауфман. ЛАГЕРНЫЙ ВРАЧ
4. Сарра Нешамит. ДЕТИ С УЛИЦЫ МАПУ
5. Арие (Лева) Элиав. НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
6. Д-р Е.Хисин. ДНЕВНИК БИЛУЙЦА
7. Макс Брод. РЕУВЕНИ, КНЯЗЬ ИУДЕЙСКИЙ
8. 6 000 000 ОБВИНЯЮТ (Процесс Эйхмана)
9. А.И.Гешель. ЗЕМЛЯ ГОСПОДНЯ
10. НА ОДНОЙ ВОЛНЕ. Еврейские мотивы в русской поэзии.
11. Натан Альтерман. СЕРЕБРЯНОЕ БЛЮДО
12. Шаул Черниховский. СТИХИ И ИДИЛЛИИ
13. Теодор Герцль. ИЗБРАННОЕ
14. Ахад Гаам. ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ
15. Арон Мегед. ХЕДВА И Я
16. Яков Цур. И ВОССТАЛ НАРОД
17. Р. и У.Черчилль. ШЕСТИДНЕВНАЯ ВОЙНА
18. ПРИДЕТ ВЕСНА МОЯ. Стихи советского еврея.
19. Говард Фаст. МОИ ПРОСЛАВЛЕННЫЕ БРАТЬЯ
20. И.Домальский. РУССКИЕ ЕВРЕИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
21. Игал Алон. ОТЧИЙ ДОМ
22. Юлия Шмуклер. УХОДИМ ИЗ РОССИИ
23. Хана Сенеш. ДНЕВНИК
24. ЕВРЕИ В СОВЕТСКОЙ РОССИИ (1917–1967)
25. Ш.Й.Агнон. ИДО И ЭЙНАМ. Рассказы, повести, главы из романов
26. Элизер Смоли. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
27. Товия Божиковский. СРЕДИ ПАДАЮЩИХ СТЕН
28. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 1
29. ОЧЕРК ИСТОРИИ ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА 2
30. А.Итай и М.Нейштат. ЧЕРЕЗ ТРИ ПОДПОЛЬЯ
31. Эли Люксембург. ТРЕТИЙ ХРАМ
32. С.Г.Фруг. СТИХИ И ПРОЗА
33. КНИГА БРАТЬЕВ
34. ЭРЕЦ-ИСРАЭЛЬ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК
35. Дж. и Д.Кимхи. ПО ОБЕ СТОРОНЫ ХОЛМА
36. И.Башевис-Зингер. РАБ

27. Р.Бонди. ЭНЦО СЕРЕНИ
28. Иегуда Галеви. СЕРДЦЕ МОЕ НА ВОСТОКЕ
29. Шломо Цемах. ГОД ПЕРВЫЙ
30. Шаул Авигур. С ПОКОЛЕНИЕМ ХАГАНЫ
31. Ханох Бартов. ВОЗМУЖАНИЕ
32. Ружка Корчак. ПЛАМЯ ПОД ПЕПЛОМ
33. Бернард Маламуд. ПОМОЩНИК
34. ДРУЗЬЯ РАССКАЗЫВАЮТ О ДЖИММИ
35. МОЙ ПУТЬ В ИЗРАИЛЬ
36. Моше Натан. БИТВА ЗА ИЕРУСАЛИМ
37. Ицхак Маор. СИОНИСТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ
38. Ицхак Шенхар. СЫНЫ ЗДЕШНИХ МЕСТ
39. Генри Рот. НАВЕРНО ЭТО СОН
40. СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ И СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ  
ЕВРЕЙСКОГО НАРОДА
41. Моше Шамир. ОН ШЕЛ ПО ПОЛЯМ
42. Ахарон Мегед. ЗА СЧЕТ ПОКОЙНОГО  
авид Маркиш. ПРИСКАЗКА
43. АКОВЫЙ ХОЛМ. Рассказы о жизни в кибуцах
44. Джон Орбах. РИКША
45. Иосеф Гедалия Клаузнер. КОГДА НАЦИЯ БОРЕТСЯ  
ЗА СВОЮ СВОБОДУ
57. Исаак Бабель. ДЕТСТВО и другие рассказы
58. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 1
59. Проф. И.Слуцкий. ИСТОРИЯ ХАГАНЫ. Книга 2
60. Андрэ Шварц-Барт. ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ

עיריית חיפה  
 מערכת תרבות הפנאי  
 מרכז תרבות לעולים  
 בית ארדשטיין - ספריה  
 מערכת מלאי.....  
 מרכז  
 בית ארדשטיין  
 מס. מלאי.....

לכבוד  
הנהלת "ספרית-עליה",  
ת.ד. 21650,  
תל-אביב.  
טל. 256182

1. Стоимость одной книги серии "Библиотека Алия" – 25 изр. лир.
2. Стоимость 12 книг – 216 изр. лир (скидка около 30%) .

Прошу выслать мне 12 из опубликованных  
книг .....  
(указать номера книг)

Прилагаю чек на сумму 216 изр. лир.

Прошу выслать мне 6 из опубликованных  
книг .....  
Прилагаю чек на сумму 108 изр. лир.

Мой адрес: .....

Имя и фамилия .....

Подпись:

## ГОТОВЯТСЯ К ВЫПУСКУ

*Андрэ Шварц-Барт.* ПОСЛЕДНИЙ ИЗ ПРАВЕДНИКОВ. Роман. Пер. с французского.

Автор (р. 1928) – французский писатель-еврей. "Последний из праведников" – его первое произведение. Это трагический мартиролог европейского еврейства, начиная с событий 12 в. в Йорке и кончая Освенцимом. События разворачиваются на фоне старинной еврейской легенды о тридцати шести праведниках.

*Исаак Бабель.* ДЕТСТВО. Сборник рассказов.

И.Бабель (1894–1939?) – писатель, павший жертвой сталинских репрессий, один из лучших прозаиков, которых выдвинуло наше столетие. Снискав всеобщее признание как величайший русский стилист, Бабель остался истинно еврейским писателем. Это выразилось не только в выборе сюжетов и персонажей, но и в самом глубинном смысле его произведений.

*Давид Маркиш.* ПРИСКАЗКА. Роман.

Автор романа родился в Москве в 1938 году. В Израиле с 1972 года. "Присказка" – первая книга автобиографической трилогии "Легкая жизнь Симона Ашкенази". Трилогия отражает двадцатилетний период: с 1952 года, когда отец писателя, Перец Маркиш, был расстрелян, а члены семьи "врага народа" – высланы из Москвы в Казахстан, и до 1972 года, когда после длительной борьбы автору и его матери удалось вырваться из России.

**МАКОВЫЙ ХОЛМ.** Избранные рассказы. Пер. с иврита.

Семьдесят лет тому назад в районе Киннерета в Галилее были основаны первые кибуцы – и за истекшие годы они доказали свою жизнеспособность. Рассказы Ализы Амир, Ц.Арада, Ц.Луза, А.Мегеда, А.Оза, М.Шамира, Н.Шахама и др. познакомят читателя с правдивой картиной жизни в кибуцах.